



ЭМИЛЬ

ДЮРКГЕЙМ

ПРАВИЛА
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Эмиль Дюркгейм

Правила социологического метода

«Издательство АСТ»

1895

УДК 316.6
ББК 60.5

Дюркгейм Э.

Правила социологического метода / Э. Дюркгейм —
«Издательство АСТ», 1895 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-137831-8

Эмиль Дюркгейм (1858–1917) – французский социолог и философ, профессор университетов Бордо и Сорбонны, основатель французской социологической школы, один из основоположников социологии как самостоятельной науки. Эта книга, впервые изданная еще в 1895 году, является манифестом ее автора по новой для того времени науке – социологии. «Правила социологического метода» и поныне остаются актуальными и обсуждаемыми. Согласно Дюркгейму, социологи без предубеждений и предрассудков должны изучать социальные факты как реальные, объективные явления, применяя строго научный метод, используемый в естественных науках. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

УДК 316.6
ББК 60.5

ISBN 978-5-17-137831-8

© Дюркгейм Э., 1895
© Издательство АСТ, 1895

Содержание

Часть первая. Правила социологического метода	6
Предисловие	6
Предисловие ко второму изданию	8
I	8
II	10
III	13
Введение	17
Глава I. Что такое социальный факт?	18
Глава II. Правила наблюдения социальных фактов	24
I	24
II	31
Глава III. Правила различения нормального и патологического	39
I	40
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Эмиль Дюркгейм
Правила социологического метода

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Часть первая. Правила социологического метода

Предисловие

Мы настолько не привыкли к научному восприятию явлений общественной жизни, что некоторые положения, излагаемые в данной книге, способны удивить читателя. Впрочем, если наука об обществах вообще существует, то, конечно, не следует ожидать, что она будет представлять собой простой пересказ традиционных предрассудков. Скорее она должна побуждать нас к тому, чтобы мы смотрели на мир иначе, нежели это делает обычный человек, поскольку цель любой науки состоит в открытиях, и все такие открытия в большей или меньшей степени опровергают общепринятые мнения. Посему, если в социологии не приписывать здравому смыслу той авторитетности, которой он ныне лишен, но которой длительное время обладает в прочих науках (совершенно непонятно, откуда она, собственно, берется), ученый должен твердо решить для себя, что его не испугают возможные итоги исследований – при условии, что эти исследования проводились с соблюдением методологии. Если считать приверженность поиску парадоксов свойством софистики, то стремление бежать от нее, когда того требуют факты, нужно признавать качеством ума, лишенного храбрости и веры в науку.

К сожалению, куда проще принять это правило в принципе или теоретически, чем последовательно его применять. Мы до сих пор склонны рассматривать все подобные вопросы в соответствии с подсказками здравого смысла, каковые не просто исключить из социологической дискуссии. Мы считаем себя свободными от уз здравомыслия, однако оно исподволь навязывает нам свои суждения. Только особая устойчивая практика в состоянии устранить этот недостаток. Просим нашего читателя постоянно помнить об этом обстоятельстве. Нужно осознавать, что образ мышления, с которым мы лучше всего знакомы, на самом деле не столько благоприятствует, сколько вредит научному осмыслению социальных явлений, а потому, следовательно, необходимо остерегаться первых впечатлений. Если уступать им без всякого сопротивления, читатель, вполне возможно, составит мнение о нашем труде, не постигнув его сути. Например, он может обвинить нас в попытках оправдать преступления – на том ложном основании, что мы рассматриваем последние как нормальные социологические явления. Но подобное возражение будет поистине ребячеством. Ведь если преступления обыденно совершаются в любом обществе, то столь же обыденным должно быть и наказание за них. Утверждение системы подавления – факт повсеместный, как и само существование преступности, а наличие этой системы существенно необходимо для обеспечения коллективного благополучия. Отсутствие преступности требует устранения различий между индивидуальными сознаниями до такой степени, каковая – по причинам, излагаемым ниже, – фактически невозможна и нежелательна. Но для отмены репрессивной системы требуется отсутствие моральной однородности, несовместимой с существованием общества. Исходя из того факта, что преступление одновременно отвратительно само по себе и вызывает отвращение других, здравый смысл ошибочно делает вывод, что преступность не может исчезнуть достаточно быстро. В духе своей привычной наивности здравый смысл не в состоянии допустить, будто нечто отталкивающее может приносить какую-то пользу. Между тем здесь нет противоречия. Разве физический организм не обладает некими отвратительными функциями, регулярное отправление которых необходимо для здоровья человека? Или разве не страшимся ли мы страданий? Но все же тот, кому они неведомы, будет чудовищем. Нормальность чего-либо и чувство отвращения, которое ею вызывается, могут даже быть тесно связаны. Если боль нормальна, ее тем не менее

стараются избегать; если преступление является нормальным, его все равно осуждают¹. То есть наш метод отнюдь не выглядит революционным. В каком-то смысле он даже консервативен, поскольку настаивает на рассмотрении социальных фактов как явлений, природа которых, сколь бы гибкой и податливой она ни была, не подлежит изменению по прихоти. Куда опаснее учение, которое видит в этих фактах лишь результат умственных комбинаций, которые простой диалектический прием может мгновенно поставить вверх тормашками!

Точно так же, ибо нам привычно воображать общественную жизнь как логическое развитие идеальных представлений, тот метод, который ставит коллективное развитие в зависимость от объективных условий, очерченных пространственно, можно осуждать за склонность к упрощению и шаблонности, а нас самих можно упрекнуть в материализме. Впрочем, мы с полным основанием вправе утверждать обратное. Разве на самом деле сущность спиритуализма не опирается на идею, будто психические явления нельзя выводить напрямую из явлений органических? Наш метод отчасти подразумевает приложение этого принципа к социальным фактам. Спиритуалисты отделяют психологическое от биологического, а мы отделяем психологическое от социального; подобно спиритуалистам, мы отказываемся объяснять нечто более сложное посредством чего-то простого. Правда, строго говоря, ни один из перечисленных способов не подходит нам целиком: единственное приемлемое для нас решение – это *рационалистический* подход. Ведь наша главная задача заключается в том, чтобы расширить рамки научного рационализма, распространить его на человеческое поведение, показать, что в свете прошлого его возможно свести к причинно-следственным отношениям, которые при помощи не менее рациональной операции затем могут быть преобразованы в правила будущих действий. То, что ныне принято именовать позитивизмом, есть просто следствие этого рационализма². Никто не поддастся соблазну выйти за пределы фактов – ни для того, чтобы их объяснить, ни для того, чтобы указать направление исследований, разве что эти факты будут сочтены иррациональными. Если факты постижимы, они вполне приемлемы для науки и для практической деятельности; наука признает, что исчезает стремление искать вовне причины их существования, а практическая деятельность видит в полезности этих фактов одну из таких причин. Посему представляется, особенно в нашу эпоху возрождающегося мистицизма, что подобное начинание может и должно восприниматься без опасений и даже с сочувствием со стороны всех, кто, расходясь с нами в каких-то частностях, разделяет нашу веру в будущее разума.

¹ Тут могут возразить, что, если здоровье содержит в себе некие отвратительные элементы, возможно ли, как мы поступаем далее, трактовать его в качестве объекта непосредственного воздействия? Но здесь опять-таки нет противоречия. Пусть что-то чревато уроном в своих последствиях, это что-то – лишь одно из многих полезных или существенно необходимых явлений. Если дурные последствия исправно преодолеваются противоборствующей силой, они на самом деле полезны и несколько не вредны. Да, они все равно отвратительны и сами по себе продолжают создавать потенциальную опасность, но эта опасность станет реальной только при участии чужой, внешней и враждебной силы. Именно так обстоит дело с преступлением. Зло, которое они причиняют обществу, упраздняется наказанием при условии, что последнее неотвратимо и применяется регулярно. Отсюда следует, что, не истребляя само зло, наказания поддерживают, как мы увидим, позитивные отношения в обществе наряду с основополагающими условиями коллективной жизни. Но пускай преступления оказываются, так сказать, безвредными по своей сути, чувство отвращения, ими вызываемое, все равно является обоснованным. – *Здесь и далее, если не указано иное, примеч. автора.*

² Ни в коем случае не следует путать этот позитивизм с позитивной метафизикой Конта и Спенсера.

Предисловие ко второму изданию

Впервые появившись в печати, эта книга вызвала довольно оживленное обсуждение. Текущие воззрения, оказавшись как бы в замешательстве, первоначально оборонялись столь яростно, что на протяжении некоторого времени для нас было почти невозможно быть услышанными. Даже в тех вопросах, в которых мы выражались наиболее ясно, нам безосновательно приписывались взгляды, не имевшие с нашими ничего общего; при этом подразумевалось, что, опровергая эти взгляды, опровергают и нас. Мы последовательно утверждали, что сознание, как общественное, так и индивидуальное, для нас не означает ничего субстанциального, что это просто совокупность явлений *sui generis*³, более или менее упорядоченная, а нас обвинили в реализме и онтологическом мышлении. Мы недвусмысленно заявляли и многократно повторяли, что общественная жизнь целиком состоит из представлений, а нас обвиняли в том, что мы исключаем из социологии психический элемент. Критики даже стали возрождать против нас такие способы полемики, которые, как казалось, давным-давно исчезли окончательно. Нам приписывали взгляды, которых мы никогда не высказывали, под предлогом того, что они якобы «соответствуют нашим принципам». Впрочем, опыт доказал всю опасность такого метода, который, позволяя произвольно конструировать обсуждаемые теории, заодно обеспечивает легкую победу над ними.

Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что с тех пор противодействие постепенно ослабело. Безусловно, значительное число наших утверждений по-прежнему подвергается нападкам, но это противодействие несколько не удивляет и не побуждает жаловаться: оно благотворно, поскольку совершенно ясно, что нашим утверждениям суждено быть пересмотренными в будущем. Обобщая личную практику, неизбежно ограниченную, они непременно должны развиваться по мере расширения и углубления опыта социальной реальности. Кроме того, что касается метода, все здесь имеет лишь временный характер, ибо методы меняются с развитием науки. Тем не менее вопреки противодействию на протяжении последних лет объективная, конкретная и методическая социология непрерывно утверждалась в обществе. Несомненно, этому во многом содействовало учреждение журнала *L'Année sociologique*⁴. Охватывая одновременно всю область науки, этот журнал полнее, чем любой специальный труд, отражал понимание того, чем должна и может стать социология. Так стало очевидно, что она вовсе не обречена оставаться отделом общей философии, что она способна тесно соприкасаться с фактами, не превращаясь в упражнения для эрудитов. Поэтому нельзя не воздать должное усердию и самоотверженности наших коллег, благодаря которым это доказательство посредством фактов удалось начать и продолжить.

Однако при всей осязательности достигнутых результатов нельзя отрицать, что бывшие заблуждения и путаница рассеяны еще не полностью. Вот почему мы хотим воспользоваться этим вторым изданием, чтобы прибавить еще несколько объяснений вдобавок ко всем данным ранее, ответить на некоторые критические замечания и внести по ряду вопросов дополнительные уточнения.

I

Положение, гласящее, что социальные факты должны рассматриваться как объекты – это положение лежит в основании нашего метода, – вызвало, пожалуй, больше всего возражений. Сочли парадоксальным и возмутительным с нашей стороны уподобление реальности социаль-

³ Как таковых (*лат.*). – *Примеч. ред.*

⁴ «Социологический ежегодник» (*фр.*). – *Примеч. ред.*

ного мира реальностям мира внешнего. Но здесь очевидно глубокое непонимание смысла и значения данного уподобления, цель которого состоит не в том, чтобы низвести высшие формы бытия до уровня низших форм, но, напротив, в том, чтобы востребовать для первых уровня реальности, по крайней мере равнозначного тому, который все признают за вторыми. На самом деле мы не утверждаем, что социальные факты суть материальные объекты; это объекты, сходные с материальными, пусть и не тождественные последним.

Что такое объект? Это противоположность идеи, как и то, что познается извне, противоположно тому, что познается изнутри. Объект – это всякий предмет познания, который сам по себе непостижим и непроницаем для мысли. Это все, что мы не в состоянии вообразить себе посредством простого приема мысленного анализа; это все, чего ум не в силах постичь, не выходя за пределы самого себя, путем наблюдений и экспериментов последовательно двигаясь от наиболее внешних и непосредственно доступных признаков к менее видимым и более глубоким. Трактовать факты определенного порядка как объекты отнюдь не значит помещать их в ту или иную категорию реальности; это значит составлять применительно к ним определенное умственное отношение. Это значит приступать к их изучению исходя из принципа, что человеку неведома их сущность, что их характерные свойства, как и неизвестные причины, от которых они зависят, не могут быть обнаружены даже при самой тщательной интроспекции.

Если формулировать термины таким образом, то наше утверждение перестает казаться парадоксальным и становится почти банальностью, не отвергай его слишком часто те науки, которые изучают человека, прежде всего социология. Действительно, при таком понимании можно сказать, что всякий предмет познания является объектом (за исключением, может быть, математических объектов). Что касается последних, то, поскольку мы сами их конструируем, от простейших до самых сложных, нам, чтобы знать, каковы они, достаточно заглянуть внутрь себя и внутренне анализировать мыслительный процесс, из которого они проистекают. Но, когда мы обсуждаем факты *per se*⁵, когда желаем создать науку из их изучения, они обязательно являются для нас неизвестными объектами, так как представления о них, которые мы составляем на протяжении жизни, сделанные без методического и критического анализа, лишены научной ценности и должны быть отвергнуты. Даже факты индивидуальной психологии отличаются этим свойством и должны рассматриваться под этим же углом зрения. В самом деле, пусть они по определению для нас внутренние, наше сознание не открывает нам ни их сущности, ни происхождения. Сознание позволяет нам узнать их до определенной степени, ровно так же, как ощущения позволяют воспринимать тепло и свет, звук или электричество. Наши впечатления будут смутными, мимолетными и субъективными, не приходится говорить о ясных и четких объясняющих понятиях. Именно по этой причине в текущем столетии сложилась объективная психология, основное правило которой состоит в изучении фактов сознания извне, т. е. как объектов. Уж тем более так должно быть с социальными фактами, поскольку сознание вряд ли преуспело в их постижении больше, чем в понимании собственного существования⁶. Могут возразить, что раз эти факты сотворены нашими руками, то нам довольно будет осознать самих себя, чтобы узнать, что мы в них вкладываем и как формируем. Но вообще-то наибольшая часть социальных институтов достается нам в совершенно готовом виде от предшествующих поколений; мы несколько не участвуем в их формировании; следовательно, обращаясь к себе, мы не сможем обнаружить породившие их причины. Кроме того, даже если мы соучаствуем в возникновении этих фактов, нам едва ли дано разглядеть, разве что совсем смутно и практически наугад, подлинные причины, побуждающие к действию, и постичь природу наших действий. Даже когда речь идет исключительно об индивидуальных поступках, мы очень плохо

⁵ В собственном смысле (лат.). – Примеч. ред.

⁶ Нетрудно показать, что для согласия с этим положением вовсе не обязательно утверждать, будто общественная жизнь включает в себя что-то еще помимо представлений. Достаточно признать, что представления, индивидуальные и коллективные, невозможно изучать посредством науки, если не подходить к ним объективно.

понимаем относительно простые мотивы, управляющие нами. Мы считаем себя бескорыстными, тогда как наши действия эгоистичны; мы уверены, что нас обуревают ненависть, хотя уступаем любви, что послушны разуму, когда становимся рабами иррациональных предрассудков, и т. д. Откуда же возьмется умение яснее различать причины иного уровня сложности, от которых зависят шаги, предпринимаемые группами? Ведь участие каждого в ней составляет лишь ничтожную часть общих усилий; нас окружает множество других людей, и то, что происходит в их сознании, от нас ускользает.

Таким образом, наше правило не содержит никакой метафизической концепции, никакой спекуляции по поводу основ бытия. Оно требует только, чтобы социолог погрузился в состояние духа, присущее физикам, химикам, физиологам, которые вторгаются в новую, еще не исследованную область своей науки. Проникая в социальный мир, социолог должен осознавать, что вступает в неизведанное. Он должен ощущать присутствие фактов, подчиненных неизвестным законам (некогда были неизвестными и законы жизни – до возникновения биологии как науки). Он должен готовиться к совершению открытий, которые поразят и приведут в замешательство его самого. Но социология далека от этой степени интеллектуальной зрелости. Ученый, изучающий физическую природу, остро чувствует сопротивление, которое оказывает природа и которое ему крайне трудно преодолеть, а в социологии кажется, что мы находимся среди объектов, непосредственно воспринимаемых разумом, ибо как будто столь просто нам разрешать самые запутанные вопросы. При современном состоянии научного знания мы даже не знаем доподлинно сущность основных социальных институтов, будь то государство или семья, право собственности или договор, наказание или ответственность. Мы фактически не ведаем причин их появления, выполняемых ими функций, законов их развития; кое в чем мы едва начинаем улавливать какие-то проблески понимания. Но достаточно бегло просмотреть труды по социологии, чтобы заметить, насколько редко встречается ощущение этого неведения и этих трудностей. Считается как бы обязательным поучать по всем проблемам одновременно, а еще предполагается, что можно на нескольких страницах или в нескольких фразах проникнуть в суть наиболее сложных явлений. Это означает, что подобные теории выражают не факты, которые невозможно столь поспешно исчерпать, а предвзятые понятия авторов, составленные еще до начала исследования. Конечно, наше представление о коллективных практиках, об их природе, явной или мнимой, служит фактором их развития. Но само это представление есть факт, который также следует изучать извне, чтобы его установить. Ведь важно узнать не способ, каким образом тот или иной мыслитель лично воображает какой-либо институт, но групповое представление об этом институте. Лишь оно может быть признано социально действенным, однако его нельзя составить на основе простого внутреннего наблюдения, поскольку целиком оно не находится ни в ком из нас; нужно поэтому отыскивать какие-то внешние признаки, которые сделают это представление явным. Кроме того, понимание не рождается из ничего; оно само является следствием внешних причин, которые нужно познать, дабы впредь оценивать его будущую роль. То есть что бы человек ни делал, ему постоянно необходимо обращаться все к тому же методу.

II

Другое положение обсуждалось не менее горячо, нежели предыдущее; оно характеризует социальные явления как внешние по отношению к индивидуумам. Сегодня уже охотно соглашаются, что факты индивидуальной и коллективной жизни в какой-то степени разнородны по природе. Можно даже сказать, что налицо если не единодушное, то по крайней мере крайне широкое согласие, и практически не осталось социологов, которые отказывали бы социологии

в какой бы то ни было специфике. Но, поскольку общество состоит сугубо из индивидуумов⁷, здравый смысл как будто убеждает, что социальная жизнь не может иметь иного субстрата, кроме индивидуального сознания; иначе она показалась бы висящей в воздухе и плывущей в пустоте.

Однако все то, что с легкостью признается неприемлемым для социальных фактов, обыкновенно допускается в отношении других областей природы. Всякий раз при сочетании каких-либо элементов посредством этой комбинации порождается новое явление, и приходится думать, что эти явления располагаются уже не в элементах, а в целом, в результате их соединения. Живая клетка не содержит в себе ничего, кроме минеральных частиц, а общество состоит сугубо из индивидуумов. Тем не менее вполне очевидно, что невозможно сводить характерные проявления жизни к атомам водорода, кислорода, углерода и азота. Ведь разве жизненные движения могли бы возникнуть внутри неживых элементов? Как вдобавок ко всему распределились бы биологические свойства между этими элементами? Они не могли бы обнаруживаться одинаково у всех, поскольку эти элементы различны по своей природе; углерод – не азот и, следовательно, не может ни обладать теми же свойствами, ни играть ту же роль. Столь же трудно предположить, чтобы каждая сторона жизни, каждая из ее главных признаков, воплощалась в отдельной группе атомов. Жизнь не может разлагаться таким образом, она едина и потому имеет своим местоположением только целостную живую субстанцию. Она заключена в целом, а не в частях. Именно живые частицы клетки питаются и воспроизводятся – одним словом, живут; живет сама клетка, она одна. То, что мы говорим о жизни, можно повторить применительно ко всем возможным синтезам. Твердость бронзы проистекает не из меди, олова или свинца, послуживших ее образованию (все они мягкие и гибкие металлы); она проистекает из их смешения. Текучесть воды, ее цельность и прочие свойства сосредоточены не в двух газах, из которых она состоит, но в сложной субстанции, образуемой их соединением.

Стоит применить этот принцип к социологии. Если указанный синтез *sui generis*, образующий всякое общество, порождает новые явления, отличные от тех, что случаются в индивидуальных сознаниях, то нужно также допустить, что эти специфические факты заключаются в самом обществе, которое их создает, а не в его частях, т. е. не в его членах. В этом смысле, следовательно, они лежат вне индивидуальных сознаний, рассматриваемых как таковые, подобно тому как отличительные признаки жизни лежат вне минеральных веществ, составляющих живое существо. Невозможно растворять их в элементах, не противореча себе, поскольку они по определению предполагают нечто иное, чем содержание элементов. Тем самым получает новое обоснование установленное нами позднее разделение между психологией в собственном смысле, или наукой о мыслящем индивидууме, и социологией. Социальные факты не только качественно отличаются от фактов психических; *у них другой субстрат*, они развиваются в другой среде и зависят от других условий. Это не означает, что они не являются также некоторым образом психическими фактами, поскольку все подразумевает какие-то способы мышления и действия. Но состояния коллективного сознания по своей сути отличаются от состояний сознания индивидуального; это представления другого рода. Мышление групп иное, чем мышление отдельных людей, и подчиняется собственным законам. Обе науки поэтому явно различаются настолько, насколько могут различаться науки вообще, какие бы связи между ними ни существовали.

Правда, здесь уместно провести разграничение, которое, возможно, несколько прояснит суть спора.

⁷ Более того, это положение верно лишь частично. Как и когда мы рассматриваем отдельных личностей, здесь налицо факторы, которые выступают составными элементами общества. Не подлежит сомнению, что индивидуумы – всего-навсего единственные из этих элементов, кто способен к деятельности.

То обстоятельство, что содержание социальной жизни не может объясняться сугубо психологическими факторами, т. е. состояниями индивидуального сознания, для нас совершенно очевидно. Действительно, коллективные представления выражают способ, которым группа осмысливает себя в своих отношениях с объектами, которые на нее влияют. Но группа устроена иначе, чем индивидуум, и влияющие на нее объекты – иные по своей сути. Представления, которые не выражают ни тех же субъектов, ни те же объекты, не могут зависеть от тех же причин. Чтобы понять, каким образом общество мыслит себя и окружающий его мир, необходимо рассматривать сущность общества, а не отдельных индивидуумов. Символы, в которых оно мыслит себя, меняются в зависимости от сути общества. Если, например, оно воспринимает себя потомком эпонимического животного, так происходит потому, что данное общество образует одну из специфических групп, называемых кланами. Если предок-животное заменяется предком-человеком, пускай тоже мифическим, значит, клан изменил свою сущность. Если выше местных или семейных божеств воображаются другие божества, от которых общество считает себя зависимым, перед нами результат того, что местные и семейные группы, из которых общество состоит, стремятся к сосредоточению и объединению, а степень единства, представленная пантеоном богов, соответствует степени единства, присущего обществу в данный момент времени. Если оно осуждает определенные разновидности поведения, то потому, что они задевают какие-то основные чувства общества, а эти чувства связаны с его устройством, как чувства индивидуума связаны с его физическим темпераментом и умственным складом. То есть даже когда индивидуальная психология раскроет все свои секреты, она не сможет предложить решение ни для одной из названных проблем, поскольку все они относятся к категориям фактов, ей неведомых.

Стоит признать это сущностное расхождение, как встает вопрос, а не сохраняют ли тем не менее индивидуальные и коллективные представления некое сходство благодаря тому, что те и другие являются представлениями; не существуют ли вследствие этого сходства некие абстрактные законы, общие для обеих областей? Мифы, народные предания, всякого рода религиозные воззрения, нравственные убеждения и т. п. отражают реальность, отличную от индивидуальной⁸; но бывает, что способы, которыми две области притягиваются или отталкиваются, соединяются или разъединяются, независимы от их содержания и обусловлены исключительно их общим свойством (быть представлениями). Формируясь по-разному, они в своих взаимоотношениях будут вести себя подобно ощущениям, образам и понятиям индивидуума. Нельзя ли, например, допустить, что логические сопряженность и сходство, противоречия и сходства могут проявляться одинаково, каковы бы ни были представляемые объекты? Мы приходим, таким образом, к возможности сугубо формальной психологии, которая способна обеспечить общую территорию для индивидуальной психологии и социологии. Может быть, именно из-за этого некоторые умы испытывают колебания перед необходимостью четкого различения двух наук.

Строго говоря, при нынешнем состоянии наших познаний на вопрос, поставленный вот так, невозможно дать однозначный ответ. В самом деле, все, что нам известно о способах, которыми комбинируются индивидуальные понятия, сводится к нескольким положениям, чрезвычайно общим и расплывчатым, обычно называемым законами ассоциации идей. Что касается законов коллективного образования понятий, они тем более неизвестны. Социальная психология, задачей которой должно было бы стать выявление этих законов, фактически является лишь прикрытием для множества общих рассуждений, разноречивых и неточных, лишенных конкретного предмета. Надлежало бы посредством сравнения мифологических тем, народных преданий, традиций и языков изучить, каким образом социальные представления притягивают или отторгают друг друга, смешиваются между собой или разделяются и т. д. В целом эта про-

⁸ Ср. с рассуждениями К.Г. Юнга об архетипах, которые восходят к мифам и сказкам. – *Примеч. перев.*

блема явно заслуживает внимания исследователей, но едва ли можно сказать, что к ней хотя бы прикасались; пока не будут выявлены какие-либо из названных законов, понятно, что будет невозможно достоверно узнать, повторяют ли они законы индивидуальной психологии.

В отсутствие твердой уверенности по меньшей мере вероятно существование не только сходств между этими двумя видами законов, но и не менее важных различий между ними. Недостойно притязать на то, что содержание представлений не оказывает якобы воздействия на способы их комбинирования. Правда, психологи порой говорят о законах ассоциации идей так, как если бы те были одинаковыми для всех видов индивидуальных представлений. Но нет ничего менее правдоподобного: образы сочетаются между собой не так, как ощущения, а понятия – не так, как образы. Будь психология более развитой наукой, она бы, несомненно, установила, что каждой категории психических состояний свойственны особые законы. Если это так, то *a fortiori*⁹ следует ожидать, что соответствующие законы социального мышления будут специфическими, как и само мышление. Пусть данная категория фактов изучена слабо, трудно не ощутить эту специфику. Не благодаря ли ей, в самом деле, нам кажутся столь странными особые способы, которыми религиозные воззрения (преимущественно коллективные) смешиваются или же разделяются, превращаются друг в друга, порождая противоречивые соединения, вопреки обычным плодам нашего индивидуального мышления? Если же, как можно предположить, некие законы социальных «состояний ума» и вправду напоминают те, которые были открыты психологами, то это не потому, что первые суть частные случаи вторых, но потому скорее, что между теми и другими (оставляя в стороне различия, безусловно важные) имеются и сходства, каковые можно выявить абстрактно и каковые пока неизвестны. Это значит, что социология никак не сможет напрямую заимствовать у психологии то или иное положение и применить его в готовом виде к социальным фактам. Коллективное мышление целиком, по форме и по содержанию, должно исследоваться в себе и ради него самого, с ощущением того, что в нем есть специфика, и нужно оставить на будущее заботу о том, чтобы выяснить, в какой мере оно подобно мышлению отдельных людей. В сущности, это задача, пожалуй, общей философии и абстрактной логики, а не научного исследования социальных фактов¹⁰.

III

Нам остается сказать несколько слов об определении социальных фактов, которое мы даем в первой главе. Мы трактуем их как совокупности способов действия и мышления, распознаваемые по особому «умению» оказывать принуждающее влияние на сознания индивидуумов. По этому поводу тоже возникла путаница, которую надлежит разъяснить.

Привычка применять к социологическим предметам формы философского мышления настолько укоренилась, что в этом предварительном определении часто усматривают нечто вроде философии социального факта. Утверждалось, что мы объясняем социальные явления принуждением, как Тард объясняет их подражанием¹¹. Мы не лелеем таких устремлений, и нам даже не приходило на ум, что кто-то припишет нам подобное, – ведь такие устремления прямо противоречат всякому методу. Мы предложили не предвосхищение выводов науки через философский взгляд, а лишь определение того, по каким внешним признакам возможно опознавать подлежащие научному изучению факты, чтобы социальный исследователь мог замечать их там, где они имеются, и не смешивал их с другими фактами. Мы пытались

⁹ Тем более с большим основанием (*лат.*). – *Примеч. ред.*

¹⁰ Будет лишним уточнять, что с данной точки зрения необходимость в изучении фактов извне видится еще более насущной, поскольку они суть плоды синтеза, который происходит вне нас и относительно которого у нас нет даже того смутного представления, каковое наше сознание составляет по поводу внутренних явлений.

¹¹ Французский социолог Г. Тард считается одним из основоположников социальной психологии; по его мнению, общественная деятельность представляет собой подражание, то есть копирование людьми действий других. – *Примеч. перев.*

ограничить поле исследования настолько, насколько возможно, и не искали способа для философии и социологии слиться в некоем всеохватывающем предчувствии. Поэтому мы охотно соглашались с упреком, что это определение не отражает всех признаков социального факта и, следовательно, не является единственно возможным. Действительно, нет ничего немислимого в том, чтобы характеризовать факт самыми различными способами, так как нет никаких оснований видеть у него всего одно отличительное свойство¹². Зато крайне важно выбирать те свойства, которые как будто лучше прочих подходят для поставленной цели. Вполне возможно даже одновременное использование нескольких критериев соответственно обстоятельствам. Мы сами признавали такой подход необходимым порой в социологии. Поскольку речь идет о предварительном определении, требуется только, чтобы используемые характеристики были непосредственно различимы и могли быть замечены до начала исследования. Но именно этому условию не соответствуют определения, которые иногда противопоставлялись нашему. Утверждалось, например, что к социальным фактам относится «все, что производится в обществе и обществом», или «все, что заботит группу и воздействует на нее». Но нельзя заключать, является или нет общество причиной факта, или заявлять, что этот факт имеет социальные последствия, до тех пор пока научное исследование не продвинулось достаточно далеко. Подобные определения поэтому не годятся для исходного обозначения объекта исследования. Для того чтобы ими можно было воспользоваться, потребуются уже приступить к изучению социальных фактов – чтобы, следовательно, уже имелись некие другие, ранее найденные средства их распознавания.

Итак, наше определение сочли слишком узким, но в то же время нас обвинили в том, что оно слишком широкое и охватывает почти всю реальность. Вообще-то утверждалось, что всякая физическая среда подвергается принуждению всех, кто испытывает ее воздействие, ведь эти существа вынуждены в определенной мере к ней адаптироваться. Но указанные два вида принуждения различаются столь же радикально, как среда физическая и среда нравственная. Давление, оказываемое одним или несколькими телами на другие тела или даже на чужую волю, нельзя смешивать с давлением, которое сознание группы оказывает на сознания ее членов. Особенность социального принуждения состоит в том, что оно проистекает вовсе не из неподатливости каких-то сочетаний молекул, а из престижа, которым наделяются те или иные представления. Правда, приобретенные или унаследованные привычки в некоторых отношениях обладают теми же свойствами. Они господствуют над нами, навязывают нам убеждения и практики. Но они господствуют над нами изнутри, так как целиком заключены в каждом из нас. Напротив, социальные убеждения и практики воздействуют на нас извне; поэтому влияние, оказываемое теми и другими, является принципиально различным.

При этом не нужно удивляться тому, что прочие явления природы в других формах содержат тот же признак, которым мы определяем явления социальные. Это сходство возникает попросту вследствие того, что и те и другие суть реальные явления. А все, что реально, обладает конкретной природой, которая навязывается, с которой надо считаться и которая, даже если удастся ее нейтрализовать, никогда не подчиняется полностью. Можно сказать, что это самое существенное в понятии социального принуждения. Оно подразумевает, что кол-

¹² Принуждающая сила, которую мы приписываем социальным фактам, отражает столь малую часть их целостности, что ее вполне можно было бы признать и прямо противоположной характеристикой. Пускай институты навязывают нам свои правила, мы все равно за них держимся; они налагают на нас обязанности, а мы их любим; они нас принуждают, однако мы обретаем удовлетворение в том способе, каким они функционируют, – и в самом принуждении. На этот антитезис нередко указывали моралисты, отмечавшие противопоставление блага и долга: это две различных, но одинаково реальных стороны моральной жизни. Пожалуй, не найдется таких коллективных практик, которые не оказывали бы на нас подобное двойственное влияние (каковое, к слову, становится зримым лишь в противопоставлении). Если мы не определяем их в этом специфическом ключе, одновременно корыстном и бескорыстном, то лишь потому, что указанный ключ не проявляет себя в наглядно воспринимаемых внешних признаках. Благо ощущается несколько более «внутренним» и личным, нежели долг, а потому оно и менее осязаемо.

лективные способы действия и мышления существуют реально вне индивидуумов, которые постоянно к ним приспосабливаются. Это объекты, обладающие собственным существованием. Индивидуум находит их совершенно готовыми и не может сделать так, чтобы их не было или чтобы они отличались от себя исходных. Он вынужден поэтому принимать их в расчет, и ему тем труднее (мы не говорим: невозможно) их изменить, что они в различной степени связаны с материальным и моральным превосходством общества над членами этого общества. Вне сомнений, индивидуум играет определенную роль в их возникновении. Но, чтобы социальный факт существовал, требуется взаимодействие хотя бы нескольких индивидуумов – при условии, что это взаимодействие породит какой-то общий результат. Поскольку этот синтез происходит вне каждого из нас (в него вовлечено множество сознаний), он непременно ведет к закреплению, установлению ввне определенных способов действия и суждения, каковые не зависят от каждой отдельно взятой воли. Как было отмечено ранее¹³, есть слово, которое, если немного расширить его обычное значение, довольно хорошо передает этот специфический способ бытия, – это слово «институт». Фактически, ничуть не искажая смысла слова, можно назвать институтом все верования и все разновидности поведения, одобряемые группой; тогда социологию можно определить как науку об институтах, их происхождении и функционировании¹⁴.

Кажется бессмысленным обращаться к иным спорам, вызванным данной книгой, поскольку они не затрагивают ничего существенного. Общая направленность метода не зависит от приемов, которые предпочитают применять либо для классификации социальных типов, либо для различения нормального и патологического. Более того, возражения очень часто обусловлены тем, что критики отказывались принимать или принимали с оговорками наш основной принцип, то есть объективную реальность социальных фактов. А в конечном счете именно на этом принципе все зиждется и все к нему сводится. Вот почему нам показалось полезным неоднократно его подчеркивать, в то же время избавляя это рассмотрение от всяких второстепенных вопросов. Мы уверены, что, приписывая этому методу столь высокую значимость, мы остаемся верны социологической традиции, так как, в сущности, именно из этой концепции произошла вся социология. Эта наука в действительности могла родиться только в тот день, когда было смутно осознано, что социальные явления, не будучи материальными, все же представляют собой реальные объекты, допускающие исследование. Чтобы прийти к мысли о необходимости их исследования, требовалось понять, что они существуют неким образом, поддающимся определению; что они имеют постоянный способ существования и особую природу, не зависящую от индивидуального произвола; что они возникают из необходимых отношений. Поэтому история социологии есть лишь длительное усилие с целью уточнить это чувство, придать ему глубину, уточнить все проистекающие из него следствия. Но, как мы увидим позднее, вопреки значительным успехам, достигнутым на этом пути, сохраняется еще множество пережитков антропоцентрического постулата, который здесь и в других местах преграждает дорогу науке. Человеку неприятно отказываться от неограниченной власти над социальным порядком, которую он себе так долго приписывал; с другой стороны, ему кажется, что, если

¹³ См. статью «Социология» Фоконне и Мосса в «Большой энциклопедии». (Имеется в виду французская 31-томная универсальная энциклопедия, издававшаяся с 1886 по 1902 год. П. Фоконне – французский социолог. М. Мосс – французский социолог и этнограф. – *Примеч. перев.*)

¹⁴ Несмотря на то обстоятельство, что верования и социальные практики проникают в нас извне, отсюда не следует, что мы пассивно их воспринимаем и нисколько не видоизменяем. Осмысливая коллективные институты, приспосабливая себя к ним, мы их индивидуализируем, мы так или иначе помечаем каждый из них своей личной меткой. Так, осмысливая чувственно данный мир, каждый из нас окрашивает его по своему усмотрению, и разные люди по-разному приспосабливаются к одной и той же физической среде. Вот почему каждый из нас в какой-то мере создает собственную мораль, собственные религию и технику. Все типы социального сходства содержат в себе целую гамму индивидуальных оттенков. Тем не менее верно, что область допустимых вариаций ограничена. Она ничтожна или очень мала в религиозных и нравственных явлениях, где отклонение легко становится преступлением. Она более обширна во всем, что относится к экономической жизни. Но раньше или позже, даже в последнем случае, мы сталкиваемся с границей, которую нельзя переступать.

коллективные формы действительно существуют, он непременно обречен испытывать должное воздействие, не имея возможности их изменить. Вот что склоняет его отрицать их существование. Напрасно опыт учит, что это всемогущество, иллюзию которого он охотно в себе поддерживает, всегда выступало причиной слабости; что его владычество над объектами начинается лишь тогда, когда он признает, что те обладают собственной природой, и когда он смиренно познает, каковы они на самом деле. Изгнанный из всех других наук, этот достойный сожаления предрассудок упорно держится в социологии. Поэтому нет ничего более насущного, чем постараться окончательно освободить от него нашу науку. Такова главная цель наших усилий.

Введение

До сих пор социологи крайне редко уделяли внимание задаче выявления и определения метода, который они применяют для изучения фактов общественной жизни. Так, во всем обширном труде Спенсера «Основания социологии» методологическая проблема как таковая не рассматривается вовсе, а название работы способно ввести в заблуждение, поскольку работа посвящена демонстрации возможностей социологии и тех затруднений, которые перед нею встают, а не изложению процедур, к каковым она должна прибегать. Не станем отрицать, что Милль счел нужным довольно подробно остановиться на этом вопросе¹⁵, однако он всего-навсего пропустил через решето своей диалектики мнение Конта, не добавив к этому мнению ничего нового. Посему, если брать широко, глава в *Cours de philosophie positive*¹⁶ Конта по сей день остается единственным сколько-нибудь содержательным исследованием интересующего нас предмета.

В столь откровенном пренебрежении методом нет на самом деле ничего удивительного. Все великие социологи, упомянутые выше, едва ли заходили далее общих мест в изучении природы человеческих обществ, отношений между областями биологического и социального и развития человечества в целом. Даже пространное социологическое сочинение Спенсера вряд ли притягивает на что-либо еще, кроме как на то, чтобы показать, каким образом закон все-ленского развития воздействует на общества. Дабы получить ответы на указанные философские вопросы, нет необходимости прибегать к каким-то особым комплексным процедурам. Поэтому социологи вполне довольствуются сопоставлением достоинств дедукции и индукции и поверхностными обращениями к тому богатству общих ресурсов, каковое предоставляют им социологические исследования. Но те меры предосторожности, которые следует принимать при наблюдении фактов, те способы, какими надлежит отражать важнейшие проблемы, то направление, которое задается исследованиям, те конкретные процедуры, что обеспечивают его успех, те правила, которые призваны определять предъявление доказательств истины, – все это остается несформулированным.

Счастлирое стечение обстоятельств, каковому следует приписать и внушающую чувство гордости инициативу по учреждению нашими стараниями регулярного курса социологии на факультете социальных наук в университете Бордо, позволило нам достаточно рано приступить к изучению социальных наук и даже сделать это изучение предметом профессионального научного интереса. Тем самым мы смогли перейти от вышеназванных общих вопросов к ряду совершенно конкретных задач. Сама природа мироустройства, похоже, побуждала нас разработать более продуманный метод – такой, который, как нам представляется, окажется лучше приспособленным к специфической сущности социальных явлений. Плодами этих изысканий мы и намерены поделиться и предложить их к обсуждению. Сделанные выводы уже подспудно содержались в нашей недавно опубликованной работе «О разделении общественного труда», но нам показалось уместным и полезным изложить их заново в отдельном сочинении и сопроводить доказательствами, снабдить наглядными примерами, как из уже упомянутой книги, так и из рукописного материала. Это поможет лучше оценить направление, которое мы хотели бы придать социологическим исследованиям.

¹⁵ Имеется в виду работа Дж. С. Милля «Система логики» (см. том 1, книгу VI, главы VII–XII). – *Примеч. перев.*

¹⁶ «Курс позитивной философии» (*фр.*); первое русское издание называлось «Курс положительной философии», также издавалось на русском языке как «Дух позитивной философии». Цитаты из этой работы приводятся по тексту Дюркгейма, поскольку существующие русские переводы не слишком точны. – *Примеч. перев.*

Глава I. Что такое социальный факт?

Прежде чем приступить к поискам метода, пригодного для изучения социальных фактов, важно установить, что, собственно, представляют собой факты, именуемые «социальными».

Этим вопросом задаться тем более необходимо, что обыкновенно данный термин употребляют не совсем точно. Им зачастую обозначают почти все происходящие в обществе явления – при условии, что последние вызывают сколько-нибудь заметный общественный интерес. Но при таком понимании не существует, так сказать, человеческих событий, которые нельзя называть социальными. Каждый индивидуум пьет, спит, ест, рассуждает, и общество крайне заинтересовано в регулярном отправлении этих функций. Будь указанные факты социальными, у социологии не было бы собственного предмета изучения, ее область слилась бы с областью биологии и психологии.

Но в действительности во всяком обществе имеется определенная группа явлений, отличная вследствие своих наглядно выраженных свойств от явлений, изучаемых другими естественными науками.

Когда я действую как брат, супруг или гражданин и выполняю принятые на себя обязанности, то подчиняюсь долгу перед законом и обычаем, внешним для меня и моих действий. Даже когда закон и обычай отвечают моим собственным чувствам и когда я признаю в душе их реальность, эта реальность не утрачивает своей объективности, поскольку вовсе не я сам создал эти обязательства: они усвоены мною посредством воспитания. Кроме того, как часто нам неизвестно полное содержание налагаемых на нас обязанностей, а для их познания мы вынуждены изучать законы и советоваться с уполномоченными их истолкователями! Точно так же верующий с рождения окружен готовыми к применению верованиями и обрядами своей религии; если они существовали до него, значит, они существуют вне его самого. Система знаков, которыми я пользуюсь для выражения мыслей, денежная система, которую я применяю для уплаты долгов, инструменты кредита, служащие мне в коммерческих отношениях, практики, соблюдаемые в моей профессии, и т. д. – все это функционирует независимо от того употребления, каковое я им предназначаю. Беря одного за другим всех членов конкретного общества, можно смело заявлять, что все сказанное может быть повторено для каждого из них. Следовательно, эти способы мышления, деятельности и чувствования обладают тем примечательным свойством, что они существуют вне индивидуального сознания.

Такие типы поведения и мышления не только находятся вне индивидуума, но и наделены принудительной и побуждающей силой, благодаря которой они навязываются ему, хочет он того или нет. Безусловно, когда я добровольно им подчиняюсь, это принуждение мало или совсем не ощущается, поскольку оно в этой ситуации лишнее. Тем не менее оно внутренне присутствует этим фактам, доказательством чего может служить то обстоятельство, что принуждение тотчас проявляется, едва я пытаюсь сопротивляться. Если я нарушаю нормы права, они реагируют против меня, как бы норовя воспрепятствовать моему действию, если еще есть время, или упраздняют мое действие – или восстанавливают его в нормативной форме, – если оно совершено и может быть исправлено; или же, наконец, заставляют меня искупать вину, если иначе исправить сделанное невозможно. Если на кону стоят сугубо моральные правила, общественная совесть удерживает от всякого действия, их оскорбляющего, посредством надзора за поведением граждан и посредством особых наказаний, которыми она располагает. В прочих случаях принуждение оказывается менее настойчивым, но все равно продолжает существовать. Если я не подчиняюсь принятым в обществе условностям, если моя одежда не соответствует заведенному обычаю моей страны и моего социального класса, то смех, мною вызываемый, и то отдаление, на котором меня стараются держать, производят, пускай в слабой степени, то же воздействие, что и наказание как таковое. В иных случаях принуждение, хотя и косвенное, ока-

зывается не менее действенным. Я не обязан говорить по-французски с моими соотечественниками или использовать одобренную законом валюту, но я не могу поступать иначе. Попытайся я ускользнуть от этой необходимости, моя жалкая попытка немедленно бы провалилась. Если я промышленник, ничто не мешает мне работать, используя приемы и методы прошлого столетия, но в таком случае я наверняка разорюсь. Даже при фактической возможности освободиться от этих правил и успешно их нарушить я в состоянии это сделать только после борьбы с ними. Если в конце концов они и будут побеждены, то их принудительная сила все же достаточно ощутима в том сопротивлении, которое они оказывают. Нет такого новатора, даже удачливого, предприятия которого не сталкивались бы с противодействием подобного рода.

Итак, перед нами категория фактов, наделенных крайне специфическими свойствами; сюда относятся способы мышления, деятельности и чувствования, внешние по отношению к индивидууму и наделенные принудительной силой, вследствие которой они этим индивидуумом управляют. Также, поскольку они состоят из представлений и действий, их нельзя смешивать ни с органическими явлениями, ни с явлениями психическими, которые возникают лишь в индивидуальном сознании и при посредстве последнего. Они составляют, следовательно, новый вид, которому и надлежит присвоить обозначение социального. Такое обозначение вполне подходит, ибо совершенно ясно, что эти факты, не имея своим субстратом индивидуума, не могут иметь другого субстрата, кроме общества – политического общества во всей его совокупности или каких-либо отдельных групп в его составе, будь то религиозные группы, политические и литературные школы, профессиональные корпорации и т. д. Вдобавок указанное обозначение применимо только к этим фактам, поскольку слово «социальный» имеет единственное значение, характеризуя исключительно те явления, которые не подпадают ни под одну из ранее установленных и названных категорий фактов. Они и образуют, как следствие, область социологии. Правда, слово «принуждение», при помощи которого мы их определяем, может разъярить ревностных сторонников полного индивидуализма. Они-то утверждают, что индивидуум полностью самостоятелен, а потому им кажется, что человека унижают всякий раз, когда ему дают почувствовать, что он зависит не только от самого себя. Но раз ныне уже не подлежит сомнению, что большинство наших идей и склонностей не вырабатывается нами, а приходит к нам извне, то эти идеи и склонности способны проникнуть в нас, лишь заставив признать себя. Именно это подразумевает наше определение. Кроме того, известно, что социальное принуждение отнюдь не исключает индивидуальности¹⁷.

Впрочем, поскольку приведенные нами примеры (юридические и нравственные правила, религиозные догматы, финансовые системы и т. п.) состоят как таковые из ранее принятых верований и практик, то на основании сказанного можно утверждать, что социальный факт возможен лишь там, где присутствует некая социальная организация. Однако существуют и другие факты, которые не обретают такой кристаллизованной формы, но обладают той же объективностью и тем же влиянием на индивидуума. Это так называемые социальные течения. Возникающие на многочисленных собраниях великие порывы энтузиазма, негодования и сострадания не зарождаются ни в каком отдельном человеческом сознании. Они приходят к каждому из нас извне и способны увлечь нас вопреки нам самим. Поддаваясь этим порывам, я могу не осознавать того давления, которое они оказывают на меня, но это давление немедленно проявится, едва я попытаюсь бороться с порывами. Если некий человек попробует воспротивиться любому из этих коллективных ощущений, то он выяснит, что отрицаемые им чувства обращаются против него. Если эта сила внешнего принуждения обнаруживается столь явно в случаях сопротивления, значит, она существует, хотя не осознается, и в случаях противоположных. То есть мы являемся жертвами иллюзии, которая побуждает верить, будто мы сами создаем то, что в реальности навязывается нам извне. Но если готовность, с какой мы впадаем в эту иллюзию,

¹⁷ Более того, всякое принуждение считается нормой. Мы вернемся к этому вопросу ниже.

прячет от нас оказываемое давление, отсюда не следует, что она его уничтожает. Так, воздух не лишается веса, пусть мы его не чувствуем. Даже когда мы, индивидуально и спонтанно, содействуем возникновению общего чувства, впечатление, нами полученное, будет разительно отличаться от того, которое мы испытали бы в одиночестве. Когда собрание расходится, когда эти социальные влияния перестанут на нас воздействовать, когда мы останемся наедине с собой, чувства, нами пережитые, покажутся нам чем-то чуждым, в чем мы сами себя не узнаем. Мы заметим тогда, что эти чувства именно испытывались, а не порождались изнутри нас. Порой они даже вселяют ужас, ибо настолько они противны нашей природе. Индивидуумы, в обычных условиях совершенно безобидные, способны, объединившись в толпу, вовлекаться в акты жестокости. Сказанное применительно к этим мимолетным вспышкам относится и к тем более продолжительным волнениям общественного мнения, которые постоянно возникают вокруг нас, во всем обществе или в более ограниченных его кругах, по поводу религиозных, политических, литературных, художественных и иных событий.

Дополнительно это определение социального факта можно подтвердить через изучение характерного опыта. Достаточно понаблюдать за воспитанием ребенка. Если рассматривать факты такими, каковы они есть (и каковы должны быть), то бросается в глаза, что воспитание как таковое заключается в постоянных усилиях по принуждению ребенка видеть, чувствовать и действовать способами, к которым он не пришел бы самостоятельно. С самых первых дней жизни мы обязываем младенца есть, пить и спать регулярно, в определенные часы, и соблюдать чистоту, спокойствие и послушание; позднее мы заставляем его считаться с другими, уважать обычаи и приличия, трудиться и т. д. Если с течением времени это принуждение перестает ощущаться, то только потому, что оно постепенно перерастает в привычку, во внутренние склонности, которые делают принуждение бесполезным, однако все эти качества возникают лишь вследствие того, что они порождаются принуждением. Правда, согласно Спенсеру, рациональное воспитание должно избегать таких приемов и предоставлять ребенку полную свободу действий. Но эта педагогическая теория никогда не практиковалась ни одним из известных народов, и потому она – всего-навсего *desideratum*¹⁸ конкретного автора, а не факт, который можно было бы противопоставить изложенным выше соображениям. Последние же особенно поучительны потому, что воспитание преследует цель создания социального существа. Тем самым можно увидеть в общих чертах, как складывалось это существо в истории. Давление, которому ребенок непрерывно подвергается, есть не что иное, как давление социальной среды, стремящейся сформировать его по своему образу и подобию; в этой среде родители и учителя оказываются только представителями и посредниками.

Получается, что характерным признаком социальных явлений служит вовсе не их пространственность. Мысли, свойственные сознанию каждого индивидуума, и действия, всеми повторяемые, не становятся по этой причине социальными фактами. Если указанным признаком довольствуются ради определения, то лишь потому, что за социальные факты ошибочно принимаются явления, которые можно назвать их индивидуальными воплощениями. К социальным фактам принадлежат верования, склонности и практики группы, взятой коллективно, тогда как формы, в которые облекаются коллективные состояния, «воплощаясь» в отдельных людях, суть явления иного порядка. Двойственность их природы наглядно доказывается тем, что обе эти категории фактов часто встречаются в разъединенном состоянии. Некоторые способы мышления и действия приобретают вследствие повторения известную устойчивость, которая, так сказать, их выделяет, изолирует от отдельных событий, отражающих сами факты. Они как бы наделяются тем самым обликом, особой осязаемой формой и составляют реальность *sui generis*, предельно отличную от воплощающих ее индивидуальных фактов. Коллективный обычай существует не только как нечто имманентное последовательности определя-

¹⁸ Желание (лат.). – Примеч. ред.

емых им действий, но и по привилегии, неведомой области биологической, выражаемой раз и навсегда в какой-нибудь формуле, что передается из уст в уста, через воспитание и даже запечатлевается письменно. Таковы происхождение и природа юридических и нравственных правил, афоризмов и народных преданий, догматов веры, в которых религиозные или политические секты кратко выражают свои убеждения, вкусовых норм, устанавливаемых литературными школами, и пр. Ни один из этих способов мышления и действия не встречается целиком в повседневной практике отдельных лиц, так как они могут существовать без применения в настоящее время.

Разумеется, такое разобщение далеко не всегда проявляется одинаково четко. Достаточно ее неоспоримого существования в многочисленных важных случаях, нами упомянутых, чтобы показать, что социальный факт отличен от своих индивидуальных воплощений. Кроме того, даже тогда разобщение не выявляется непосредственным наблюдением, его нередко можно обнаружить, применяя те или иные методологические установки. Более того, такие процедуры, по сути, необходимо выполнять, если требуется вычленить социальный факт из совокупности явлений и наблюдать его в чистом виде. Так, существуют направления общественного мнения, степень интенсивности которых варьируется в зависимости от эпохи и страны; они побуждают нас, например, к браку или к самоубийству, к более или менее высокой рождаемости и т. п. Очевидно, что это социальные факты. С первого взгляда они кажутся неотделимыми от форм, принимаемых ими в индивидуальных случаях. Но статистика дает нам средство их изолировать. Они и вправду выражаются довольно точно показателями рождаемости, браков и самоубийств, то есть тем числом, которое получают при делении среднего годового итога браков, рождений и добровольных смертей на число лиц, по возрасту способных жениться, производить детей или убивать себя¹⁹. Поскольку каждая из этих цифр охватывает без различия все отдельные случаи, то индивидуальные обстоятельства, которые могли бы отчасти сказываться на возникновении явления, взаимно упраздняют друг друга и потому никак не могут считаться причастными к результату. Цифра выражает лишь известное состояние коллективной души.

Вот что такое социальные явления, избавленные от всех посторонних элементов. Что касается их частных проявлений, то и в последних присутствует нечто социальное, ибо они частично воспроизводят коллективный образец. Но в значительной мере каждое из них зависит также и от психической и физической конституции индивидуума, от особых обстоятельств, в которых индивидуум пребывает. Следовательно, это не явления, которые можно признать собственно социологическими. Они подвластны одновременно двум областям, значит, их можно было бы назвать социопсихическими. Они тоже интересуют социолога, но не составляют непосредственного предмета социологии. Точно так же встречаются органические явления смешанного характера, которые изучаются смешанными науками, к примеру биохимией.

Могут возразить, что явление становится общественным лишь тогда, когда оно охватывает всех членов общества – или по крайней мере большинство из них, – то есть когда оно признается всеобщим. Без сомнения, это так, но всеобщим оно будет лишь потому, что является общественным (более или менее обязательным); это отнюдь не значит, что оно общественное потому, что всеобщее. Перед нами состояние группы, которое повторяется среди индивидуумов, поскольку оно им навязывается. Оно заметно в каждой части, ибо находится в целом, а вовсе не потому находится в целом, что обнаруживается в частях. Это особенно очевидно в тех верованиях и практиках, что передаются нам вполне сложившимися от предшествующих поколений. Мы принимаем и усваиваем их потому, что видим в них творение коллективное и давнее, облеченное особым авторитетом, который наше воспитание приучает нас уважать и ценить. Здесь надо отметить, что подавляющее большинство социальных явлений приходит к нам именно таким путем. Но даже тогда, когда социальный факт возникает отчасти при нашем

¹⁹ Не во всяком возрасте и не во всех возрастах одинаково часто прибегают к самоубийству.

прямом содействии, природа его остается все той же. Коллективное чувство на каком-либо собрании выражает не просто сумму индивидуальных чувств, разделяемых многими, – как мы показали, оно есть нечто совсем другое. Это плод совместного существования, продукт действий и противодействий, возникающих между индивидуальными сознаниями. Если оно отражается в каждом из них, то в силу той особой энергии, которой обязано своему коллективному происхождению. Если все сердца бьются в унисон, это не следствие самопроизвольного и предустановленного согласия, а итог действия одной и той же силы и в одном и том же направлении. Каждого вовлекают и увлекают все вокруг.

Итак, теперь мы можем точно определить область социологии. Она охватывает лишь конкретную, четко оформленную группу явлений. Социальный факт опознается через силу внешнего принуждения, которой он обладает или способен обладать применительно к индивидуумам. А присутствие этой силы опознается, в свою очередь, или по существованию какой-то определенной санкции, или по сопротивлению, которое факт оказывает любой попытке индивидуума выступить против него. Впрочем, возможно также его определить по распространенности внутри группы при условии, как отмечалось выше, что будет прибавлен второй основополагающий признак, а именно: что факт существует независимо от индивидуальных форм, принимаемых при распространении в группе. В иных случаях второй критерий применять даже легче, чем первый. Наличие принуждения заметно, когда оно выражается внешне какой-либо прямой реакцией общества, как бывает в праве, в морали, в верованиях, обычаях и даже в моде. Но, когда принуждение всего-навсего косвенное, что имеет место, например, в экономической организации, оно не столь заметно. Тогда бывает проще выявить всеобщность наряду с объективностью факта. К тому же второе определение, в сущности, представляет собой лишь иную форму первого: если способ поведения, существующий вне индивидуальных сознаний, становится общим, он делается таковым только при посредстве принуждения²⁰.

Однако могут спросить, насколько полным является это определение. Действительно, все факты, послужившие нам основанием для него, отражают различные способы действия, «физиологические» по своей природе. Но ведь существуют и формы коллективного бытия, то есть социальные факты «анатомической», или морфологической, природы. Социология не может отделять себя от субстрата коллективной жизни. При этом число и характер основных элементов, из которых складывается общество, способы их сочетания, степень достигнутой ими сплоченности, распределение населения по территории, число и виды путей сообщения, конструкция жилищ и т. д. не могут на первый взгляд быть сведены к способам действия, чувствования и мышления.

Прежде всего эти разнообразные явления содержат те же характерные признаки, которые помогли нам определить другие явления. Эти формы бытия навязываются индивидуумам так же, как и те способы действия, о которых мы говорили выше. Фактически, желая узнать политическое деление общества, состав его отдельных частей, степень их сплоченности, это можно сделать, не прибегая к физическому наблюдению или географическому обзору; деление социально, даже если какие-то его основания заложены в физической природе. Лишь посред-

²⁰ Можно увидеть, сколь далеко это определение социального факта от определения, послужившего основанием для оригинальной системы Тарда. Мы должны заявить прежде всего, что наши исследования никогда не позволяли выявить то преобладающее влияние, которое Тард приписывает подражанию, в происхождении социальных фактов. Кроме того, из приведенного определения, которое представляет собой не теорию, а простой итог непосредственных наблюдений, как будто ясно проистекает, что подражание не только не всегда, но даже никогда не выражает того, что составляет сущность и характерную особенность социальных фактов. Конечно, каждому социальному факту подражают и, как мы показали, каждый такой факт склонен обобщаться, но так происходит потому, что он социален, то есть обязателен. Его способность к распространению – не причина, а следствие его социологического характера. Будь социальные факты уникальными по своим последствиям, подражание и вправду могло бы если не объяснять, то по крайней мере их определять. Но индивидуальное состояние, которое воздействует на другие, не перестает от этого быть индивидуальным состоянием. Кроме того, можно задуматься, подходит ли слово «подражание» для обозначения распространения под принуждением. В этом слове выражают крайне разнородные явления, которые следовало бы различать.

ством публичного права мы в состоянии изучать такую организацию, ведь именно право устанавливает ее природу заодно с нашими семейными и гражданскими отношениями. Организация, следовательно, есть форма принуждения. Если население теснится в городах вместо того, чтобы расселяться привольно в сельской местности, это происходит потому, что имеется коллективное мнение, коллективное устремление, обязывающее индивидуумов к такой концентрации. Мы вольны в выборе конструкции жилищ не больше, чем в выборе фасонов одежды; по меньшей мере то и другое предлагается извне. Пути сообщения настоятельно предписывают направления внутренних миграций и коммерческих операций, даже их интенсивность. Значит, к перечисленному нами ряду явлений с характерным отличительным признаком социальных фактов можно было бы прибавить еще одну категорию. Но, поскольку указанное перечисление не было исчерпывающим, такое прибавление необязательно.

Оно даже не слишком уместно, ибо эти способы бытия суть лишь устоявшиеся способы действия. Политическая структура общества представляет собой способ, которым привыкли жить друг с другом различные элементы этого общества. Если их отношения традиционно близкие, то элементы стремятся слиться; в противном случае они тяготеют к разъединению. Тип жилища, который нам навязывается, есть лишь тот способ, которым привыкли строить дома все вокруг нас, отчасти унаследованный от предшествующих поколений. Пути сообщения – это русло, прорытое регулярным коммерческим сообщением и миграцией и т. д. Конечно, будь явления морфологического порядка единственными образцами такой устойчивости, можно было бы счесть, что они относятся к особому виду. Но юридическое правило не менее устойчиво, чем архитектурный стиль, а между тем это факт «физиологический». Простая нравственная максима, разумеется, более изменчива, но ее формы нередко устойчивее профессиональных привычек или моды. При этом существует целый ряд переходных ступеней, которыми, не нарушая непрерывности, наиболее характерные по своей структуре социальные факты соединяются с теми свободными течениями социальной жизни, каковые пока не обрели твердую форму. Потому правильно говорить, что различия между ними затрагивают лишь степень усвоенности. Те и другие факты суть формы жизни на разных стадиях кристаллизации. Несомненно, может быть полезным сохранить обозначение «морфологический» для тех социальных фактов, которые составляют социальный субстрат, но только при условии, что мы будем помнить: они по своей природе тождественны всем прочим фактами.

Наше определение в итоге учтет все, что надлежит учесть, если мы скажем: социальным фактом является всякий способ действий, устоявшийся или нет, который оказывает на индивидуума внешнее принуждение; или иначе: это факт, распространенный по всему данному обществу и обладающий собственным существованием, независимым от его индивидуальных проявлений²¹.

²¹ Это тесное родство жизни и структуры, органа и функции можно легко установить в социологии, поскольку между этими двумя крайними пределами существует целый ряд промежуточных степеней, доступных непосредственному наблюдению и выявляющих связь между ними. У биологии нет такого методологического средства. Но обоснованным будет мнение, что социологические индукции в отношении данного предмета применимы и в биологии и что в организмах, как и в обществах, между этими двумя категориями фактов налицо различие лишь в степени.

Глава II. Правила наблюдения социальных фактов

Первое и основное правило состоит в том, что *социальные факты нужно рассматривать как объекты*.

I

В момент, когда определенный класс явлений становится объектом науки, в человеческом уме эти явления уже представлены – не только через чувственное восприятие, но и через некие смутно сформулированные понятия. Еще до первых зачатков физики и химии люди уже располагали некими понятиями о физических и химических явлениях, причем эти понятия выходили за пределы чистого восприятия. Таковы, например, те понятия, которые наличествуют во всех религиях. Причина в том, что познающая мысль предшествует науке, которая лишь применяет ее более методично. Человек не способен жить среди явлений, не составляя понятий о них, и этими понятиями он руководствуется в своем поведении. Но поскольку эти понятия ближе к нам и понятнее, чем реальности, которым они соответствуют, то мы, естественно, склонны подменять ими последние и делать их предметом наших размышлений. Вместо того чтобы наблюдать объекты, описывать их и сравнивать, мы довольствуемся всего-навсего идеологизированным анализом. Разумеется, этот анализ не исключает всякое наблюдение. К фактам можно обращаться для того, чтобы подтвердить эти понятия или сделанные из них выводы. Но факты в этом случае оказываются чем-то второстепенным, примерами или подтверждающими доказательствами, а не предметом науки, которая, получается, движется от идей к объектам, а не от объектов к идеям.

Ясно, что такой метод не может принести объективные результаты. Эти понятия, или концепции, как бы их ни называли, не являются, конечно, законными заместителями объектов. Они – плоды обыденного опыта и призваны прежде всего приводить наши действия в гармонию с окружающим миром; они вырабатываются опытом и ради опыта. Но эту функцию с успехом может выполнять и представление – даже теоретически ложное. Коперник несколько столетий тому назад рассеял иллюзии наших чувств относительно движения небесных тел, но мы до сих пор подчиняемся этим иллюзиям в регулировании времени. Для того чтобы какая-нибудь идея вызвала действие, согласное с природой данного объекта, нет необходимости в точном отражении этой природы. Будет достаточно, если мы поймем, какова польза и каковы недостатки объекта, чем он может нам служить или навредить. Но понятия, составленные таким образом, всего лишь выражают приблизительную практическую правильность – в общем ходе событий. Часто они столь же опасны, сколь несовершенны! Следовательно, нельзя открыть законы реальности, разрабатывая эти понятия, как бы мы к ним ни подступались. Напротив, эти понятия походят на завесу между нами и объектами, они скрывают последние от нас тем надежнее, чем прозрачнее выглядит завеса.

Такая наука будет ущербной, ибо она лишена необходимого предмета, на котором и возрастает. Едва она возникает, можно заметить, как уже исчезает, превращаясь в искусство. Считается, будто научные понятия содержат в себе все существенное для реальности, но это потому, что их смешивают с самой реальностью. Вот и кажется, что в них есть все, что требуется нам, чтобы постигать существующее и чтобы предписывать нужные действия и способы их осуществления. Несообразное природе – зло, а средства обретения блага и избегания зла порождаются самой природой. Если мы постигаем природу мгновенно, то изучение существующей реальности не имеет более практического интереса; поскольку именно этот интерес побуждает к исследованиям, сами исследования лишаются цели. Так, наша познающая мысль отворачивается от истинного предмета науки, то есть от настоящего и прошлого, и одним

прыжком устремляется в будущее. Не желая понимать факты, уже известные и установленные, она берется за открытие новых фактов, более отвечающих человеческим целям. Когда людям кажется, будто они познали сущность материи, немедленно начинаются поиски философского камня. Это присвоение науки искусством, мешающее научному развитию, облегчается и самими обстоятельствами, которые обуславливают пробуждение научной рефлексии. Последняя призвана удовлетворять жизненные потребности, а потому она естественным образом обращается к практике. Потребности, которые она должна удовлетворять, всегда насущны и торопят ее с окончательными выводами: они требуют не объяснений, а лекарств.

Такой подход настолько соответствует естественной склонности нашего ума, что он встречается уже на заре физических наук. Именно он отличает алхимию от химии и астрологию от астрономии. Таков, по словам Бэкона, метод ученых его времени – метод, против которого он сражался. Понятия, о которых говорилось чуть выше, вообще-то суть те *notiones vulgares* или *praenotiones*²², которые, по Бэкону, лежат в основе всех наук²³, где они замещают факты²⁴. Это *idola*²⁵, подобия призраков, искажающие истинный вид объектов и ошибочно принимаемые нами за сами объекты. Поскольку этот воображаемый мир не оказывает нашему уму никакого сопротивления, то ум, не испытывая стеснения, предается безграничному честолюбию и считает возможным построить, или скорее перестроить, мироздание по собственному усмотрению и своей властью.

Если таково было положение в естественных науках, то тем более так должно было быть в социологии. Люди не дожидались появления общественных наук, создавали себе понятия о праве, нравственности, семье, государстве, обществе, потому что не могли жить без них. Прежде всего в социологии эти «предустановленные понятия» – опять используя выражение Бэкона – могут господствовать над умами и подменять собой объекты. Действительно, социальные явления осуществляются только людьми, они суть плоды человеческой деятельности. То есть это не что иное, как осуществление присущих нам идей, врожденных или нет; это их приложение к различным обстоятельствам, сопровождающим отношения людей между собой. Организация семьи, договорных отношений, репрессивных мер, государства и общества предстает тем самым элементарным развитием идей, которыми мы располагаем, – об обществе, о государстве, справедливости и т. д. Значит, эти и аналогичные им факты обладают, по-видимому, реальностью лишь в идеях и посредством идей, которые являются их источником (и становятся потому истинным предметом социологии).

Этот взгляд окончательно подтверждается тем обстоятельством, что, поскольку социальная жизнь во всей своей полноте подавляет сознание, последнее лишается силы восприятия, достаточной для того, чтобы чувствовать реальность. В отсутствие тесных и прочных связей с реальностью мы легко усваиваем впечатление чего-то ни к чему не прикрепленного, плывущего в пустоте, полуреального и крайне податливого. Вот почему столько мыслителей видели в социальных организациях простые комбинации, искусственные и более или менее произвольные. Но если детали и конкретные, частные формы ускользают от нас, то мы по крайней мере составляем себе общие и приблизительные представления о коллективном бытии в целом; эти-то схематичные и грубые представления оказываются теми самыми «предпонятиями», которыми мы пользуемся в повседневной жизни. Нельзя воображать их существование, ведь мы замечаем его лишь одновременно с нашим. Они сокрыты в нас, но, будучи результатом повторных опытов, они от повторения и проистекающей отсюда привычки получают известного рода влияние и авторитет. Мы чувствуем их сопротивление, когда стараемся освободиться от них, и

²² «Новый Органон», часть 1. (*Notiones vulgares* – простонародные представления; *praenotiones* – предустановленные понятия (лат.). – Примеч. ред.)

²³ Там же.

²⁴ Там же.

²⁵ Идолы (лат.). – Примеч. ред.

не можем не считать реальным того, что нам сопротивляется. Все, следовательно, способствует тому, чтобы мы увидели в них подлинную социальную реальность.

В самом деле, до сих пор социология рассуждала почти исключительно о понятиях, а не об объектах. Правда, Конт провозгласил, что социальные явления суть естественные факты, подчиненные законам природы. Этим он, по сути, признал их объектами, ибо в природе существуют лишь объекты. Но когда, выйдя за пределы этих философских обобщений, он пытается применить свой принцип и построить соответствующую науку, то берет именно идеи в качестве предмета изучения. Действительно, главным содержанием его социологии является прогресс человечества во времени. Он отталкивается от той идеи, что непрерывная эволюция человеческого рода подразумевает все более полное совершенствование человеческой природы. Своей задачей он видит выявление последовательности этого развития. Но даже допуская, что эта эволюция существует, ее реальность возможно установить, лишь когда наука уже возникла. То есть эволюция не может быть предметом исследования, пока ее не постулировали как концепцию разума, а не как объект. Фактически это представление сугубо субъективно, ведь такого прогресса человечества в реальности не существует. Имеются лишь данные нам в наблюдении конкретные общества, которые рождаются, развиваются и умирают независимо друг от друга. Если бы позднейшие общества служили продолжением предшествующих, то каждый превосходящий тип можно было бы рассматривать как простое повторение ближайшего низшего типа с небольшим прибавлением. Их можно было бы поставить рядом, одно за другим, объединить в одну группу те, что находятся на одинаковой ступени развития; ряд, образованный таким образом, мог бы считаться отражением человечества. Но факты не предстают в такой непосредственной простоте. Народ, занимающий место другого, вовсе не продолжает дело первого с некоторыми новыми свойствами. Это иной народ, у него некоторых свойств больше, а других меньше. Он составляет новую индивидуальность, и все такие отдельные индивидуальности, будучи разнородными, не могут слиться ни в один и тот же непрерывный ряд, ни тем более в какой-то единственный ряд. Последовательность обществ невозможно представить в виде геометрической линии; напротив, она напоминает дерево, ветви которого расходятся в разные стороны. Если кратко, то Конт принял за историческое развитие собственное представление о нем, которое немногим отличается от обыденного понятия. Верно, что история, рассматриваемая издали, без труда приобретает такой упрощенный последовательный вид. Видны лишь индивиды, последовательно сменяющие друг друга и идущие в одном и том же направлении, ибо все они – существа человеческой природы. Кроме того, раз уж считается, что социальная эволюция не может быть не чем иным, как только развитием каких-то человеческих идей, вполне естественно определить ее тем понятием, которое люди о ней составляют. Однако, двигаясь по этому пути, мы задерживаемся в области идеологии – и приписываем социологии в качестве предмета понятие, в котором нет ничего собственно социологического.

Спенсер отвергает это понятие, заменяет его другим, составленным, увы, по тому же образцу. Предметом исследований он делает не человечество, а общества, но незамедлительно дает обществу такое определение, которое упраздняет сам предмет и ставит на его место предпонятие, существующее у автора. В сущности, он признает очевидным то положение, что «общество возникает лишь тогда, когда совместное пребывание индивидуумов дополняется сотрудничеством»; именно так союз отдельных людей становится обществом в полном смысле этого слова²⁶. Затем, исходя из того принципа, что кооперация есть суть общественной жизни, он разделяет общества на два класса по типу господствующего способа кооперации. «Существует, – говорит он, – самопроизвольная кооперация, которая происходит непреднамеренно, когда преследуются частные цели; но существует также сознательно установленная коопера-

²⁶ См.: Спенсер Г., «Основания социологии», II.

ция, предполагающая ясно признанные цели общественного интереса»²⁷. Общества первого типа он называет промышленными, общества второго типа – военными. Об этом различии можно сказать, что оно является исходной идеей спенсеровской социологии.

Но это предварительное определение объявляет реальным объектом обыкновенное умозрение. Оно выдается за выражение непосредственно воспринимаемого и констатируемого наблюдением факта, поскольку с самого зарождения науки оно формулируется как аксиома. Между тем из простого наблюдения невозможно узнать, действительно ли кооперация есть источник общественной жизни. Такое утверждение будет научно обоснованным лишь в том случае, если начинать с обзора всех проявлений коллективного бытия и показать, что все они являются различными формами кооперации. Опять-таки здесь некая концепция социальной реальности замещает собой эту реальность²⁸. Так определяется не общество, а та идея, которую составил себе Спенсер. Если он не испытывает сомнений, шагая по этой дороге, то потому, что и для него общество есть и может быть лишь реализацией идеи, той самой идеи кооперации, посредством которой он определяет общество²⁹. Легко показать, что в каждом отдельном вопросе, который Спенсер рассматривает, его метод остается тем же самым. Вдобавок он притворяется, будто действует эмпирически: факты, собранные в его социологии, используются скорее для иллюстрации анализа понятий, а не для описания и объяснения объектов; оттого и создается впечатление правильных доводов. Фактически же все существенное в его учении можно непосредственно вывести из его определения общества и различных форм кооперации. Ведь если нам предлагают выбирать только между тиранически навязываемой кооперацией и кооперацией добровольной и самопроизвольной, то очевидно, что именно последняя окажется тем идеалом, к которому будет и должно стремиться человечество.

Эти обыденные понятия встречаются как в основаниях науки, так и в основе постоянно приводимых аргументов. При нынешнем состоянии наших знаний мы не ведаем достоверно, что такое государство, суверенитет, политическая свобода, демократия, социализм, коммунизм и т. д. То есть наш метод должен побуждать к запрещению употребления этих понятий, пока они не установлены научно. Между тем слова, выражающие эти понятия, регулярно встречаются в рассуждениях социологов. Их употребляют с уверенностью, как если бы они прямо соответствовали объектам, хорошо известным и определенным, но ведь на деле они порождают в нас лишь смутные понятия, смесь расплывчатых впечатлений, предрассудков и страстей. Мы смеемся ныне над диковинными домыслами средневековых медиков, которые строили свои теории на понятиях тепла и холода, сухости и сырости и т. д., – и не замечаем, что сами продолжаем прилагать тот же метод к разряду явлений, для которых он менее всего пригоден вследствие их чрезвычайной сложности.

В специальных отраслях социологии этот идеологический характер проявляется еще отчетливее.

В особенности наглядно он проявляет себя в нравственности. Пожалуй, можно уверенно утверждать, что нет такой системы, в которой она не представлялась бы простым развитием исходной идеи, потенциально заключающей в себе всю нравственность. Одни думают, что люди уже с рождения наделены осознанием этой идеи; другие, наоборот, полагают, что она прорастает с различной скоростью на протяжении человеческой истории. Но для тех и для других, равно для эмпириков и для рационалистов, в ней воплощается вся подлинная реальность нравственности. Что касается подробных юридических и нравственных правил, они лишены, так сказать, существования *per se*³⁰, ибо являются всего-навсего приложениями этой основной

²⁷ Там же.

²⁸ Вдобавок эта концепция противоречива (см. «О разделении общественного труда», II, 2).

²⁹ Спенсер: «Значит, кооперация одновременно неспособна существовать без общества и выступает тем, ради чего общество существует».

³⁰ Зд. собственного (лат.). – Примеч. ред.

идеи к конкретным случаям жизни и видоизменяются по обстоятельствам. Потому предметом этики не может быть эта нереальная система предписаний; ее предмет – идея, из которой предписания возникают и которая истолковывается разнообразно в зависимости от ситуации. Значит, все вопросы, которыми обыкновенно задается этика, относятся не к объектам, а к идеям. Надо понимать, в чем состоят идеи права и нравственности; не имеет значения, какова природа нравственности и права самих по себе. Моралисты еще не осознали ту простую истину, что как наши представления о чувственно воспринимаемых объектах проистекают от самих объектов и выражают их более или менее точно, так и представление о нравственности порождается наблюдением правил, исполняемых у нас перед глазами, и систематическим их постижением. Следовательно, сами эти правила, а не общий взгляд на них составляют предмет науки (напомним, что предметом физики служат реальные физические тела, а не представления о них, присущие людской массе). Итог рассуждений таков: за основание нравственности принимают то, что является ее верхушкой, то есть способ, каким она проникает в индивидуальное сознание и воздействует на него. Этому методу придерживаются ради изучения наиболее общих вопросов науки – и не отказываются от него в изучении вопросов частных. От основополагающих идей, исследуемых вначале, моралист переходит к идеям второстепенным, к идеям семьи, родины, ответственности, милосердия и справедливости, но его мысли всегда обращены именно к идеям.

То же самое справедливо для политической экономии. Предметом последней, как говорит Джон Стюарт Милль, являются социальные факты, возникающие главным образом или исключительно с целью накопления богатства³¹. Но, чтобы подходящие под такое определение факты могли наблюдаться учеными как объекты, потребуется по меньшей мере указать способы опознания этих фактов по какому-либо признаку. В новых науках никто не вправе устанавливать существование фактов и уж тем более притязать на постижение их сути. Во всяком виде исследований возможно установить, что факты имеют цель, и понять эту цель, лишь когда объяснение фактов уже достаточно глубоко. Нет в начале задачи более трудоемкой и менее пригодной для быстрого решения. У нас отсутствует уверенность в том, что существует некая область общественной деятельности, где стремление к богатству действительно играет преобладающую роль. Вследствие этого предметом политической экономии, понятой таким образом, выступает не реальность, в которую легко ткнуть пальцем, а простая возможность, то есть сугубо умозрительная концепция. Это факты, которые экономист трактует как относящиеся к рассматриваемой области – в том облике, в каком они ему видятся. Если, например, он изучает то, что сам называет производством, ему кажется, будто он в состоянии сразу перечислить и обозреть главнейшие производственные факторы. Фактически он узнает об их существовании вовсе не посредством наблюдения условий, от которых зависит изучаемое явление; ведь иначе он начал бы с описания опытов, при помощи которых вывел это заключение. Если, подытоживая, в самом начале исследования он выдвигает такую классификацию, то это означает, что перед нами результат элементарного логического анализа. Экономист отталкивается от идеи производства, разлагает ее на части и находит, что она логически предполагает наличие естественных сил, труда, орудий или капитала, а затем таким же образом поступает с производными идеями³².

Главнейшая экономическая теория, теория стоимости, явно построена по тому же самому методу. Если бы стоимость изучалась так, как должен изучаться реальный объект, экономист указал бы для начала, как опознается данный объект, затем перечислил бы его разновидности, определил бы методологической индукцией, под влиянием каких причин они изме-

³¹ «Система логики», том 2, книга VI, гл. IX: «Политическая экономия показывает, что человечество занято исключительно приобретением и накоплением богатства».

³² Это наглядно выражается и в рассуждениях самих экономистов, которые непрестанно говорят об идеях – идее полезности, сбережений, вложений и стоимости. См. *C. Gide, Principes de l'économie politique*, книга III, гл. 1, 2 и 3.

няются, сопоставил бы полученные результаты и наконец вывел бы из них общую формулу. То есть теория сложилась бы лишь тогда, когда наука успела бы уйти достаточно далеко вперед. Вместо этого она возникает исходно. Ради этого экономист довольствуется собственным познающим мышлением, осмысляет придуманную им идею стоимости как объекта, способного обмениваться. Он находит, что за нею скрываются идеи пользы, редкости и т. д., и на основании этих плодов своего анализа строит определение. Разумеется, он подкрепляет теорию некоторыми примерами. Но, если принять во внимание бесчисленные факты, которые должна объяснить подобная теория, возможно ли признать хоть какую-то доказательную ценность тех неизбежно скудных фактов, которые по случайному внушению приводятся в подтверждение теории?

Итак, в политической экономии и в этике доля научного исследования крайне ограничена, зато доля искусства преобладает. В этике теоретическая часть сводится к нескольким рассуждениям об идеях долга, добра и справедливости. Эти отвлеченные рассуждения не составляют, строго говоря, науку как таковую, поскольку их целью не является выявление некоего фактически высшего морального закона; они призваны показать, каким данный закон должен быть. Точно так же экономисты в своих исследованиях сосредотачиваются прежде всего на выяснении того, например, должно ли общество зиждиться на индивидуалистических или социалистических воззрениях; должно ли государство вмешиваться в промышленные и торговые отношения или предоставить их всецело частной инициативе; должна ли денежная система опираться на монометаллизм или биметаллизм? Законы в собственном смысле этого слова немногочисленны; даже те, которые принято считать таковыми, не заслуживают обыкновенно этого обозначения, ибо они суть простые максимы поведения, а то и подавно практические предписания. К примеру, широко известный закон спроса и предложения никогда не выводился индуктивно, как выражение экономической реальности. Ни разу не проводилось ни эксперимента, ни методологического сравнения для того, чтобы установить, в самом ли деле экономические отношения подчиняются этому закону. Все, что могло быть сделано и что было сделано, заключалось в диалектическом доказательстве того, что индивидуумы должны действовать таким образом, если они хорошо понимают свои интересы, а всякий иной способ действия будет ущербным и повлечет за собой, если к нему прибегнуть, настоящую логическую ошибку. Вполне логично ставить выше прочих наиболее производительные отрасли промышленности, продавать по самой высокой цене наиболее редкие и пользующиеся наибольшим спросом товары. Но эта очевидная логическая необходимость несколько не соответствует насущности истинных законов природы. Последние выражают отношения фактов, связанных между собою в реальности, а не способы, какими их желательно было бы связывать.

Сказанное об этом законе можно повторить применительно ко всем тем положениям, которые ортодоксальная экономическая школа называет естественными и которые, кроме того, являются, по сути, частными случаями основного закона. Они естественны, можно отметить, лишь в том смысле, что указывают средства, которые используются или могут использоваться естественным образом для достижения намеченной цели. Но их не следует называть так, если под естественным законом понимается всякий способ природного бытия, устанавливаемый индуктивно. Они суть, в общем-то, советы практической мудрости. Если кажется, что их возможно более или менее правдоподобно выдавать за прямое выражение действительности, то потому, что – правильно или неправильно – допускается, будто указанным советам и вправду следуют большинство людей в большинстве случаев.

Между тем социальные явления – это объекты, которые надлежит трактовать как таковые. Для доказательства этого утверждения не обязательно философствовать об их природе или разбирать аналогии с явлениями низшего порядка существования. Достаточно сказать, что

для социолога это единственная *datum*³³. Объект же – все то, что дано, представлено или, точнее, навязано нашему наблюдению. Трактовать явления как объекты – значит рассуждать о них как о данных, и это отправная точка науки. Социальные явления бесспорно обладают таким признаком. Нам дано не человеческое представление о стоимости – оно недоступно наблюдению, – а скорее стоимость, реально обмениваемая в области экономических отношений. Нам дано также не то или иное понятие нравственного идеала, а общая сумма правил, которые действительно регулируют поведение. Нам даны не идеи пользы и богатства, а подробности экономической организации. Не исключено, что социальная жизнь и вправду представляет собой лишь развитие каких-то понятий, но даже если так, то все-таки эти понятия не осознаются нами моментально. То есть к ним нельзя прийти непосредственно, они открываются только через постижение реальных явлений, в которых выражаются. Мы не знаем априорно, от каких идей происходят различные течения, характерные для общественной жизни; не знаем, существуют ли они вообще. Лишь проследив эти течения до их источников, мы узнаем, откуда они берутся.

Потому надлежит рассматривать социальные явления сами по себе, отделяя их от сознающих субъектов, которые создают себе собственные представления о них. Эти явления нужно изучать извне, как внешние объекты, поскольку именно в таком облике они предстают перед нами. Если этот внешний характер окажется мнимым, то иллюзия начнет рассеиваться по мере развития науки, и мы увидим, как внешнее, так сказать, сольется с внутренним. Но результат нельзя предвидеть заранее; даже пускай в итоге выяснится, что социальные явления лишены всех существенных свойств объектов, исходно их правильно трактовать так, как будто эти свойства у них имеются. Это правило, стало быть, приложимо ко всей социальной реальности в целом, и нет ни малейшего повода искать исключения. Даже те явления, которые убедительнее всего представляются искусственными, должны рассматриваться с этой точки зрения. *Условный характер практики или института никогда не должен предполагаться заранее*. Кроме того, если нам будет позволено сослаться на наш личный опыт, смеем уверить, что, действуя таким образом, часто с удовольствием наблюдаешь, как факты, вначале очевидно произвольные, при более внимательном наблюдении проявляют свойства постоянства и регулярности, присущие объектам.

Сказанного ранее об отличительных признаках социального факта достаточно, чтобы убедить нас в этой объективности и показать, что она не иллюзорна. Объект опознается в силу того, что его невозможно как-то изменить простым усилием воли. Дело не в том, что он вовсе не подвержен изменениям, а в том, что для изменения одной воли мало, требуется приложить более или менее напряженное усилие из-за сопротивления объекта, которое далеко не всегда удастся преодолеть. Мы видели, что социальные факты обладают этим качеством сопротивления. Они нисколько не продукты нашей воли, они сами определяют ее извне. Это как бы формы, в которые мы вынуждены отливать наши действия. Необходимость такова, что мы редко можем ее избежать. Даже когда одержана победа, сопротивление, которое мы встречаем, дает понять, что мы сталкиваемся с чем-то от нас не зависящим. Значит, рассматривая социальные явления как объекты, мы лишь подтверждаем их природу.

В конце концов реформа, которую следует предпринять в социологии, во всех отношениях тождественна реформе, преобразовавшей психологию за последние тридцать лет. Конт и Спенсер объявляют социальные факты фактами природы, но отказываются воспринимать их как объекты, а различные эмпирические школы давно признали естественный характер психологических явлений, но продолжают применять к ним сугубо идеологический подход. Действительно, эмпирики, в той же степени, что и их противники, прибегали исключительно к интроспекции. Но факты, наблюдаемые в самих себе, слишком малочисленны, слишком мимо-

³³ Зд. непосредственная данность (лат.). – Примеч. ред.

летны и изменчивы для того, чтобы приобрести власть над нашими привычными понятиями о них и восторжествовать над ними. Когда же эти понятия избавлены от чуждой власти, у них нет противовеса, вследствие чего они занимают место фактов и составляют содержание науки. Так, ни Локк, ни Кондильяк³⁴ не рассматривали объективность психических явлений. Они изучали не ощущение, а некое представление об ощущениях. Потому-то, пусть кое в чем они подготовили почву для научной психологии, эта наука возникла гораздо позднее, когда наконец-то было осознано, что состояния сознания могут и должны рассматриваться извне, а не через индивидуальное сознание, подверженное этим состояниям. Такова великая революция, совершенная в этой области. Все особые приемы, все новые методы, которыми обогатилась наука психологии, суть лишь различные способы полнее реализовать эту основную идею. К тому же нужно стремиться к социологии, которая должна подняться над субъективной стадией, едва ли преодоленной, и прийти к стадии объективной.

Вдобавок этот переход в социологии менее затруднителен, нежели в психологии. Психические факты по самой своей природе даются как индивидуальные состояния, от индивидуума они, похоже, неотделимы. По определению внутренние, они вряд ли могут трактоваться как внешние без насилия над их природой. Для того чтобы рассматривать их извне, нужно не только усилие абстракции, но и целая совокупность приемов и уловок. Наоборот, социальные факты куда более естественно и непосредственно демонстрируют все признаки объекта. Право фиксируется в сводах законов, ход повседневной жизни отражается в статистических таблицах и в исторических памятниках, мода воплощается в нарядах, а вкусы запечатлеваются в произведениях искусства. В силу своей природы социальные факты стремятся возникать вне индивидуального сознания, ибо они господствуют над последним. Следовательно, дабы воспринимать их как объекты, нет нужды прибегать к изощренным толкованиям. С этой точки зрения социология обладает перед психологией важным преимуществом, которое ранее не замечалось и которое должно ускорить ее развитие. Факты социологии, пожалуй, труднее объяснить, поскольку они сложнее, зато их легче уловить наблюдением. Напротив, психология с трудом добывает и осмысливает факты. Значит, допустимо считать, что, едва состоится всеобщее признание и внедрение в практику данного принципа социологического метода, социология станет развиваться с такой быстротой, которую нельзя и вообразить, судя по неспешности ее нынешнего развития. Быть может, она даже опередит психологию, обязанную своим превосходством исключительно историческому старшинству³⁵.

II

Но опыт наших предшественников показывает, что для практического восприятия только что установленной истины недостаточно ее теоретически доказать или даже ею проникнуться. Ум настолько склонен ее не признавать, что мы неизбежно будем возвращаться к прежним заблуждениям, если не подчинимся строгой дисциплине. Далее будут изложены главные правила этой дисциплины – в качестве короллариев³⁶ предыдущего правила.

1. Первый королларий таков: *необходимо систематически устранять все предпонятия*.

Специальное доказательство этого правила будет излишним: оно вытекает из всего, что было сказано ранее. Кроме того, оно составляет основание всякого научного метода. Декартово методологическое сомнение есть, в сущности, лишь его приложение. Если в момент возникно-

³⁴ Дж. Локк – английский философ-эмпирик, отстаивал первичность ощущений перед разумом. Э. де Кондильяк – французский философ, автор сенсуалистической (чувственной) теории познания. – *Примеч. перев.*

³⁵ Верно, что повышенная сложность социальных фактов затрудняет создание науки, их трактующей. Однако, как бы в качестве компенсации за это, именно потому, что социология родилась последней из наук, она может опираться на прогресс, достигнутый в других дисциплинах, и учиться у них. Такая опора на опыт предшественников ничуть не замедляет ее развитие.

³⁶ Необходимое следствие того или иного суждения. – *Примеч. перев.*

вения науки Декарт ставил себе задачу сомневаться во всех тех идеях, которые он ранее принимал, это случилось потому, что он желал опираться лишь на научно обоснованные понятия, то есть на понятия, составленные по методу, который он предложил. Все понятия иного происхождения следовало отвергать – по крайней мере временно. Мы уже видели, что бэконовская теория идолов имела то же значение. Обе эти великие доктрины, столь часто противопоставляемые друг другу, совпадают в этом существенном пункте. Потому социолог, определяет ли он предмет своих изысканий или проводит исследования, должен решительно отказаться от употребления таких понятий, которые образовались вне науки и для потребностей, не имеющих ничего общего с наукой. Ему нужно освободиться от этих ложных очевидностей, которые владеют умами заурядных людей, нужно свергнуть раз и навсегда иго эмпирических категорий, которое привычка зачастую превращает в тираническое. Если необходимость порой и вынудит его снова к ним прибегать, пускай он делает это с сознанием их малой ценности и не отводит им в своих исследованиях той роли, которой они недостойны.

Освобождение от указанных понятий особенно трудно в социологии потому, что здесь часто вмешиваются чувства. Мы относимся к нашим политическим и религиозным верованиям, к моральным практикам совсем иначе, чем к объектам физического мира. Вдобавок это эмоциональное отношение распространяется и на способ, каким мы воспринимаем и объясняем наши убеждения. Идеи, у нас возникающие, столь же близки нашему сердцу, как и цели, и приобретают поэтому такой авторитет, что не терпят противоречия. Всякое мнение, им противоположное, встречается враждебно. Например, некое утверждение может не совпадать с нашими взглядами на патриотизм или личное достоинство; оно будет отрицаться вопреки всем доказательствам. Мы не в состоянии признать его истинность, мы его отвергаем, и наши сильные чувства для своего оправдания без труда внушают нам доводы, легко признаваемые убедительными. Эти понятия могут даже оказаться настолько престижными, что вообще не потерпят научного исследования. Сам факт того, что они, как и явления, ими выраженные, подвергаются холодному и беспристрастному анализу, претит некоторым умам. Социолог, намеренный изучать нравственность как внешнюю реальность, кажется этим утонченным людям лишенным нравственного чувства (как вивисектор кажется людям заурядным лишенным обыкновенной чувствительности). Не признается, что эти чувства подлежат научному рассмотрению, и считается, что нужно непременно обращаться к ним для того, чтобы заниматься наукой об объектах, к которым они относятся. «Горе ученому, – восклицает один красноречивый историк религии, – горе ему, если он приступает к божественным предметам, не сохраняя в глубине своего сознания, в неразрушимых недрах своего духа, там, где спят души предков, сокровенного святилища, из которого временами поднимается благоухание фимиама, строка псалма, страдальческий или победный крик, с каким он ребенком обращался к небу по примеру своих братьев и который внезапно связывает его с пророками»³⁷.

Нельзя возражать слишком слабо против этой мистической доктрины, которая, как и всякий мистицизм, есть, в сущности, лишь замаскированный эмпиризм, отрицающий науку как таковую. Чувства, соотносимые с социальными объектами, не имеют преимущества перед другими чувствами, так как у всех у них общее происхождение. Они образуются исторически как плод человеческого опыта, пусть и неясного, неупорядоченного. Они возникают не вследствие какого-то трансцендентального предвосхищения реальности, а являются результатом всевозможных разнородных впечатлений и эмоций, собранных вместе по случаю, без систематической интерпретации. Они не только не проливают свет высшего, чем свет разума, порядка, но и формируются исключительно из смутных, хотя сильных, состояний сознания. Приписывать им преобладающую роль – значит отдавать первенство низшим способностям разума над высшими, значит обрекать себя на более или менее витиеватые словопрения (лого-

³⁷ См. J. Darmsteter, Les Prophetes d'Israel (Paris; 1892). (Рус. пер: Дармстетер Д. Пророки. М., 1904. – Примеч. ред.)

махию³⁸). Наука, созданная таким образом, может удовлетворять лишь те умы, которые предпочитают мыслить скорее в согласии с чувствами, а не с разумом, которые ставят немедленный и туманный синтез ощущений выше ясного и терпеливого умственного анализа. Чувство – это предмет науки, а не критерий научной истины. Однако нет науки, которая в начале своем не встречалась бы с подобными препятствиями. Было время, когда чувства, связанные с объектами физического мира и обладающие религиозным или нравственным характером, не менее яростно противились установлению физических наук. Можно, следовательно, надеяться, что этот предрассудок, постепенно изгоняемый из всех наук, исчезнет наконец из социологии, из последнего своего убежища, и освободит ученых поле для исследований.

2. Предыдущее правило носит сугубо отрицательный характер. Оно учит социолога избавляться от гнета обыденных понятий и направляет его внимание на факты, но не говорит, каким образом он должен улавливать факты ради объективного их изучения.

Всякое научное исследование затрагивает конкретную группу явлений, отвечающих одному и тому же определению. Первым шагом социолога, следовательно, должно стать выяснение того, какие объекты он будет изучать, дабы он сам и другие знали, каков предмет его изысканий. Это первое и неперемное условие всякого доказательства и всякой проверки. Теорию возможно проверить, лишь умея различать факты, которые она должна объяснять. Кроме того, поскольку именно первоначальное определение закрепляет предмет науки, этот предмет будет объектом (или нет – в зависимости от того, каково окажется определение).

Чтобы определение было объективным, оно должно явно выражать явления как функцию – не как идеи, порождаемые умом, а на основании внутренне присущих им свойств. Оно должно характеризовать явления через составные элементы их природы, а не по соответствию более или менее идеальным понятиям. Когда исследование только начинается и факты еще не подверглись анализу, возможно выявить только те их признаки, которые являются достаточно внешними для того, чтобы быть непосредственно видимыми. Несомненно, признаки, скрытые глубже, более существенны. Их объяснительная ценность выше, но они остаются неизвестными на этой стадии научного познания и могут предварительно оцениваться лишь на основании подмены реальности какими-либо умозрительными концепциями. Потому именно среди первых признаков мы вынуждены искать элементы нашего основного определения. С другой стороны, ясно, что это определение должно содержать в себе без исключения и различия все явления, обладающие теми же признаками, поскольку у нас нет поводов и средств выбора между ними. Эти свойства тогда – все известное нам о реальности; поэтому они должны абсолютно определять порядок группировки фактов. Мы лишены иных критериев, способных хотя бы отчасти ограничивать действие этого правила. Тем самым формулируется следующее правило: *предметом исследования должна быть группа явлений, определенных предварительно некоторыми общими для них внешними признаками; сюда включаются все явления, отвечающие данному определению*. Например, мы отмечаем существование каких-то действий, обладающих тем внешним признаком, что их совершение вызывает со стороны общества особую реакцию, именуемую наказанием. Мы составляем из них группу *sui generis* и помещаем эти явления в общую категорию: всякое наказуемое действие называется преступлением, а само преступление, определяемое таким образом, становится предметом отдельной науки – криминологии. Точно так же мы отмечаем внутри всех известных обществ наличие малых общин, опознаваемых по тому внешнему признаку, что они образованы в основном людьми, которые связаны между собой кровным родством и некими юридическими узами. Из фактов, сюда относящихся, мы составляем особую группу и называем ее особым именем; это – явления семейной жизни. Мы называем семьей всякий агрегат подобного рода и делаем семью предметом специального исследования, не получившего еще конкретного обозначения в социологической тер-

³⁸ Букв. «словесную битву» (греч.). – Примеч. перев.

минологии. Переходя затем от семьи вообще к различным семейным типам, надо применять то же правило. Приступая, например, к изучению клана, материнской или патриархальной семьи, нужно начинать с определения этих явлений по тому же самому методу. Предмет в каждом случае, общем или частном, должен быть установлен согласно тому же принципу.

Действуя таким образом, социолог с первого шага оказывается твердо стоящим на ногах в реальности. Действительно, способ классификации фактов зависит уже не от него, не от особого склада ума ученого, а от природы объектов. Критерий, определяющий отнесение фактов к той или иной категории, может быть предъявлен всем и признан всеми, а утверждения наблюдателя могут быть проверены другими. Правда, понятие, составленное этим способом, не всегда совпадает (даже обыкновенно не совпадает) с обыденными понятиями. Например, очевидно, что факты свободомыслия или нарушений этикета, столь неуклонно и строго наказываемые во многих обществах, с распространенной точки зрения не считаются преступлениями даже по отношению к этим обществам. Точно так же клан не является семьей в обыкновенном значении слова. Но это не имеет значения, так как вопрос не в том, чтобы установить с достаточной надежностью факты, к которым применяются слова обыденного языка и идеи, ими выражаемые. Нужно создавать понятия *de novo*³⁹, приспособленные к потребностям науки и выражаемые при помощи специальной терминологии. Это не значит, конечно, что обыденные понятия бесполезны для ученого. Они служат своего рода вехами, указывают на то, что где-то существует группа явлений, объединенных одним и тем же названием и, следовательно, имеющих, по всей вероятности, общие свойства. Кроме того, раз обыденное понятие всегда в какой-то мере связано с явлениями, то иной раз оно указывает приблизительное направление поиска этих явлений. Но поскольку оно составляется лишь вчерне, вполне естественно, что оно не вполне совпадает с научным понятием, созданным при его посредстве⁴⁰.

При всей очевидности и важности этого правила оно в настоящее время почти не соблюдается в социологии. Именно потому, что социология имеет дело с явлениями, которые обсуждаются постоянно, к примеру, семья, собственность, преступление и т. д., очень часто социологу кажется бесполезным предварительно и строго определять эти явления. Мы настолько привыкли употреблять эти слова, исправно звучащие в повседневных разговорах, что нам кажется напрасным выяснять тот смысл, в котором мы их употребляем. Мы просто ссылаемся на общепринятые понятия, но последние нередко крайне многозначны. Эта многозначность заставляет нас группировать под тем же именем и с тем же объяснением явления, в действительности принципиально различные. Отсюда возникает неисправимая путаница. Так, существует два вида моногамных союзов – фактические и союзы юридического характера. Во-первых, у мужа всего одна жена, хотя юридически он может иметь несколько жен; во-вторых, полигамия запрещена законодательно. Фактическая моногамия встречается у нескольких видов животных и в некоторых низших обществах, причем не спорадически, а столь же часто, как если бы она предписывалась законом. Когда племя рассеяно по обширному пространству, общественные связи ослаблены, и потому люди живут изолированно друг от друга. Тогда каждый мужчина, естественно, ищет себе жену, но только одну, потому что в этом состоянии разобщения ему трудно завести несколько жен. Обязательная же моногамия наблюдается, наоборот, лишь в наиболее развитых обществах. Эти два вида супружеских союзов имеют, следовательно, совершенно разное значение, хотя обозначаются они одним и тем же словом. Можно услы-

³⁹ Заново (*лат.*). – *Примеч. ред.*

⁴⁰ На практике всегда отправной точкой оказываются обыденные понятия и обыденные названия. Среди всего того, что обозначает данный термин, мы норовим выяснить, существует ли что-то такое, что обладает обыденными внешними признаками. Если это что-то находится и если понятие, образованное посредством группировки фактов, совпадает, пусть не целиком (что бывает редко), но хотя бы по большей части, с обыденным понятием, то возможно и далее обозначать первое тем же привычным обыденным определением, сохранив в науке расхожее разговорное выражение. Но если различие слишком уж заметно, если обыденное понятие имеет избыток значений, то создание нового, специального термина становится необходимо.

шать, что отдельные животные моногамны, пусть в этом случае нет и намека на юридические обязательства. Спенсер, приступая к исследованию брака, употребляет слово «моногамия», не определяя его содержания, то есть использует его в обыкновенном, двусмысленном значении. Потому-то эволюция брака кажется ему содержащей необъяснимую аномалию, ведь он думает, что высшая форма полового союза наблюдается с ранней стадии исторического развития, а она между тем явно на время исчезает и затем появляется снова. Из этого он делает вывод, что нет прямого и устойчивого соотношения между социальным прогрессом как таковым и прогрессивным движением к идеальному типу семейной жизни. Надлежащее определение предупредило бы эту ошибку⁴¹.

В других случаях тщательно стараются определить предмет исследования, но, вместо того чтобы включить в определение и сгруппировать под одним именем все явления с одинаковыми внешними свойствами, производят между ними сортировку. Выбирают те, которые можно назвать элитными, и только за ними признают право на обладание данными свойствами. Остальным же приписывают, если угодно, узурпацию этих отличительных признаков и потому отвергают. Но легко предвидеть, что такая процедура позволяет получить лишь субъективное и частичное представление о реальности. Подобный процесс выбора фактически возможен лишь в соответствии с заранее составленной идеей, поскольку на заре науки никакое исследование не смогло бы установить, состоялась ли узурпация на самом деле, даже если предположить, что она осуществима. Выбранные явления сводятся вместе потому, что они более других отвечают той идеальной концепции, которая была составлена применительно к конкретной реальности. Так, Гарофало⁴² на первых страницах своей «Криминологии» очень хорошо показывает, что отправной точкой этой науки должно быть «социологическое понятие о преступлении»⁴³. Но, желая создать это понятие, он не сравнивает без различия все те действия, которые в обществах разного типа неуклонно влекут за собой наказания, а выбирает только некоторые из них, именно те, которые оскорбляют типичные, неизменные элементы нравственного чувства. Что касается тех нравственных чувств, которые исчезли в ходе эволюции, то для него они явно не связаны с природой объектов – по той причине, что им не удалось сохраниться. Вследствие этого действия, считавшиеся преступными, так как они оскорбляли эти чувства, заслужили, по его мнению, такое название лишь благодаря случайным обстоятельствам более или менее патологического свойства. Далее он строит на этом исключении сугубо личную концепцию нравственности. Он отталкивается от идеи, что нравственная эволюция, взятая у самого своего источника или вблизи от него, изобилует всевозможными примесями, которые постепенно уничтожаются; лишь ныне она наконец преуспела в избавлении от всех случайных элементов, нарушавших ее течение. Но этот принцип не является ни самоочевидной аксиомой, ни доказанной истиной; это лишь гипотеза, которую к тому же ничто не подтверждает. Изменчивые элементы нравственного чувства не менее укоренены в природе объектов, чем неизменяемые элементы; изменения, через которые прошли первые, показывают всего-навсего, что менялись сами объекты. В зоологии специфические формы низших видов считаются не менее естественными, чем формы, повторяющиеся на всех ступенях развития животных. Точно так же действия, которые расцениваются как преступные в первобытных обществах и которые позднее утратили это обозначение, все равно преступны по отношению к этим обществам, подобно тем, за которые мы продолжаем наказывать и сегодня. Первые соответствуют изменчивым условиям общественной жизни, вторые – условиям постоянным, но первые не более искусственны, чем вторые.

⁴¹ То же отсутствие определения заставляет порой утверждать, что демократия свойственна как началу, так и концу истории. Истина же в том, что первобытная и нынешняя демократия сильно отличаются друг от друга.

⁴² Р. Гарофало – итальянский чиновник, юрист и криминалист, ученик Ч. Ломброзо. – *Примеч. перев.*

⁴³ См. R. Garofalo, Criminologie (Paris, 1888).

Тут можно добавить следующее: даже прими эти действия незаконно криминальный характер, их все-таки не следует решительно отделять от других. Патологические формы любого явления имеют ту же природу, что и формы нормальные, вследствие чего для определения этой природы необходимо наблюдать как первые, так и вторые. Болезнь не противопоставляется здоровью, это две разновидности одного и того же рода, взаимно проясняющие друг друга. Данное правило давно признано и практикуется в биологии и в психологии, а социологу тоже надлежит его уважать. Если только не считать, что одно и то же явление может вызываться разными причинами, то есть если не отрицать принцип причинности, то причины, придающие действию отличительный признак преступления неким «аномальным» образом, не могут в видовом отношении отличаться от причин, вызывающих тот же результат нормальным порядком. Они отличаются лишь степенью – или тем, что не действуют при той же совокупности обстоятельств. Аномальное преступление, следовательно, все равно остается преступлением и должно подпадать под определение преступления. Что же получается? Нечто, принимаемое Гарофало за *genus* (род), есть на самом деле вид или даже простая разновидность. Факты, к которым прилагается его формула преступности, представляют только ничтожное меньшинство тех фактов, которые следовало бы охватить. Его формула не учитывает ни религиозные преступления, ни преступления против этикета, церемониала, традиции и пр., а ведь они, исчезнув из современного свода законов, заполняют едва ли не целиком уголовное право предшествующих обществ.

Той же ошибкой в методе со стороны некоторых наблюдателей будет отказывать дикарям во всякой нравственности⁴⁴. Эти наблюдатели исходят из идеи, что наша нравственность – единственная, какая может быть. Но наша нравственность либо неизвестна первобытным народам, либо существует у них в зачаточном состоянии, так что определение выглядит произвольным. Если применить наше правило, все сразу изменится. Дабы установить, нравственно какое-нибудь предписание или нет, мы должны изучить, присутствует ли в нем внешний признак нравственности. Этот признак заключается в распространенной репрессивной санкции, то есть в осуждении посредством общественного мнения всякого нарушения данного предписания. Всякий раз, когда мы встречаемся с фактом, содержащим этот признак, у нас нет права отказывать ему в причислении к нравственным, поскольку перед нами доказательство тождества его природы с природой других нравственных фактов. Правила такого рода знакомы низшим обществам, и там они многочисленнее, нежели в обществах цивилизованных. Множество действий, ныне оставляемых усмотрению индивидуумов, ранее было обязательным. Мы обречены заблуждаться, не давая определений или определяя плохо.

Но могут возразить, что определять явления по их видимым признакам – значит приписывать поверхностным свойствам некий приоритет в ущерб основным качествам. Не получится ли, что мы переворачиваем логический порядок, опираемся на макушки, а не на основания объектов? Когда преступление определяется через наказание, почти неизбежно возникает опасность услышать обвинение в желании вывести преступление из наказания или, согласно известной цитате, в желании увидеть источник стыда в эшафоте, а не в искупаемом проступке. Но этот упрек покоится на смешении. Поскольку определение, правило которого мы только что сформулировали, помещается в начале научного исследования, его цель состоит не в том, чтобы выразить сущность реальности; скорее оно призвано обеспечить нам возможность прийти к этому в дальнейшем. Единственная его функция заключается в установлении соприкосновения с объектами, а раз последние доступны разуму лишь извне, то оно выражает

⁴⁴ См. *J. Lubbock, Origins of Civilization*, гл. VIII. Если обобщать далее, то утверждается – и справедливо, – что древние религии были аморальны или даже внеморальны. Правда в том, что они обладали собственной моралью. (Дж. Леббок – прав. Лаббок – британский энциклопедист, политик, банкир и археолог. Работа, на которую ссылается автор, опубликована на русском языке: *Леббок Дж. Начало цивилизации и первобытное состояние человека. Умственное и общественное состояние дикарей* (СПб., 1896). – *Примеч. перев.*)

их именно по внешним свойствам. Но оно не объясняет эти объекты, только предоставляет необходимую рамку для объяснений. Конечно, не наказание порождает преступление, но лишь через наказание преступление в его внешних признаках проявляется для нас, и потому от него мы должны двигаться, если хотим дойти до понимания преступления.

Возражение, приведенное выше, было бы обоснованным в том случае, если бы внешние признаки оказывались чисто случайными, то есть если бы они не были связаны с основными свойствами объектов. В таких условиях наука, отметив признаки, не имела бы никакой возможности двигаться дальше. Она не смогла бы проникать глубже в реальность, так как отсутствовало бы связующее звено между поверхностью и глубиной. Когда же принцип причинности действует, то определенные признаки одинаково и без всякого исключения встречаются во всех явлениях данной группы, и это происходит потому, что они тесно и неразрывно связаны с природой этих явлений. Если некий набор действий одинаково отражает ту особенность, что с ним связана уголовная санкция, то это значит, что существует тесная связь между наказанием и основными свойствами этих действий. Потому-то, будь эти свойства сколь угодно поверхностными, они при наблюдении посредством правильного метода ясно укажут ученому тот путь, по которому он должен следовать, чтобы проникнуть в глубину событий. Это первое и необходимое звено той цепи, которую образуют научные объяснения.

Поскольку внешняя сторона объектов дается нам в ощущениях, то можно подытожить так: наука, чтобы быть объективной, должна исходить не из понятий, образованных умозрительно, а из чувственного восприятия. Она должна заимствовать напрямую у чувственных данных элементы своих первоначальных определений. Более того, достаточно вспомнить, в чем состоит задача науки, чтобы понять, что она не может существовать иначе. Ей нужны понятия, выражающие объекты адекватно, такими, каковы они есть, а не такими, какими их полезно представлять себе для житейской практики. Понятия, сложившиеся вне области науки, не отвечают этому условию. Поэтому она должна создавать новые понятия, а для этого отвергать общепринятые понятия и слова, их выражающие, должна возвращаться к наблюдению, существенной основе всех понятий. Именно из чувственного восприятия возникают все общие идеи, равно истинные и ложные, научные и ненаучные. Отправная точка науки или умозрительного знания не может, следовательно, отличаться от отправной точки обыденного или практического знания. Лишь затем, уже в способе уточнения общего предмета, зарождаются и проявляются различия.

3. Но чувственный опыт подвержен субъективности. Потому в естественных науках принято за правило удалять чувственные данные, чреватые избытком субъективизма, и сохранять исключительно те, которым свойственна достаточная степень объективности. Так, физик заменяет неясные впечатления от температуры или электричества зрительным представлением колебаний термометра или вольтметра. Социолог должен прибегать к тем же мерам предосторожности. Внешние признаки, на основании которых он определяет предмет своих исследований, должны быть объективными, насколько это вообще возможно.

Можно сформулировать принцип, что социальные факты тем легче представляются объективно, чем более полно они отделяются от индивидуальных фактов, в которых проявляются.

Ощущение тем объективнее, чем постоянное объект, к которому оно относится. Дело в том, что условием всякой объективности является существование постоянного и неизменного ориентира, к которому может быть обращено представление и который позволяет исключить из него все изменчивое, иначе говоря, субъективное. Если единственные доступные нам ориентиры сами изменчивы и никогда не остаются тождественными себе, то нет никакой общей меры и нет никакого средства различать, что в наших впечатлениях зависит от внешнего мира, а что исходит от нас самих. Пока общественная жизнь не изолирована от воплощающих ее событий, дабы воплотиться в отдельной сущности, она обладает именно этим свойством. Все указанные события в разных случаях и непрерывно меняют свой облик, сообщая общественной жизни

свою переменчивость. Она превращается тогда в пространство буйства свободных сил, которые непрестанно преобразуются и которые умственный взор наблюдателя не в состоянии запечатлеть. Значит, этот подход не годится для ученого, приступающего к изучению социальной реальности. Но мы все же знаем, что социальная реальность содержит в себе способность к кристаллизации без изменения своей природы. Вне индивидуальных действий, ими возбуждаемых, коллективные привычки выражаются в конкретных формах, будь то юридические и нравственные правила, народные поговорки, факты социальной структуры и т. д. Поскольку эти формы устойчивы и не меняются под давлением обстоятельств, они составляют устойчивый объект, постоянную меру, всегда доступную наблюдателю и не оставляющую места для субъективных впечатлений и личных представлений. Юридическое правило есть то, что оно есть, и нет двух способов его воспринимать. С другой стороны, раз эти практики суть консолидированная общественная жизнь, будет правомерно – в отсутствие указаний на противоположное⁴⁵ – изучать эту жизнь через них.

Итак, *когда социолог предпринимает исследование какого-то порядка социальных фактов, он должен стараться рассматривать их с той стороны, с которой они представляются изолированными от своих индивидуальных проявлений*. Именно исходя из этого принципа мы изучали общественную солидарность, ее различные формы и их эволюцию через систему юридических правил, их выражающих⁴⁶. Точно так же при попытке различить и классифицировать разные типы семьи по литературным описаниям путешественников, а иной раз и историков, можно столкнуться с опасностью смешать различные виды и сблизить самые отдаленные типы. Если же, наоборот, взять за основу классификации юридическое устройство семьи, особенно наследственное право, у нас появится объективный критерий, который, пусть и не будучи безупречным, предупредит многие заблуждения⁴⁷. Допустим, мы хотим классифицировать различные виды преступлений; тогда нужно попробовать воссоздать образ жизни, «профессиональные обычаи» разных сегментов преступного мира. Будет выявлено столько же криминологических типов, сколько обнаружится форм организации этого мира. Дабы постичь обычаи и народные верования, нужно взяться за пословицы и поговорки, их выражающие. Безусловно, тем самым мы временно вычеркнем из науки конкретное содержание коллективной жизни. Впрочем, при всей изменчивости этой жизни мы не вправе априорно постулировать ее непознаваемость. Но желание двигаться методологически побуждает возводить основания науки на твердой почве, а не на зыбком песке. Нужно приступить к миру социальных явлений с тех сторон, где утверждение научного метода наиболее возможно. Лишь позднее мы продолжим наши исследования и, последовательно приближаясь к результатам, постепенно уловим ту ускользающую реальность, которой, быть может, ум человеческий никогда не будет в силах овладеть вполне.

⁴⁵ Например, нужны основания считать, что в какой-то конкретный момент времени закон перестает отражать реальное содержание общественных отношений; тогда такая подмена не будет правомерной.

⁴⁶ См. «О разделении общественного труда», I.

⁴⁷ См. Durkheim, 'Introduction a la sociologie de la famille', Annales de la Faculte des Lettres de Bordeaux, 1889.

Глава III. Правила различения нормального и патологического

Наблюдение, выполняемое по описанным выше правилам, объединяет две категории фактов, принципиально различных по некоторым своим признакам: факты, которые именно таковы, какими они должны быть, и факты, которые должны отличаться от своего ожидаемого состояния, – то есть явления нормальные и патологические. Мы уже видели, что обе категории фактов необходимо включать в определение, с которого должно начинаться любое исследование. Но если в каких-то отношениях они обладают одинаковой природой, то в целом четко разделяются, и эти две категории важно различать. Но располагает ли наука средствами для проведения такого различия?

Этот вопрос чрезвычайно важен, поскольку от ответа на него зависит представление о роли науки, прежде всего науки о человеке. По одной теории, сторонники которой принадлежат к самым различным школам мысли, наука ничего не может сообщить нам о том, чего мы должны хотеть. Утверждается, что она познает исключительно факты, наделенные одинаковой ценностью и одинаковой полезностью; она наблюдает, объясняет, но не судит; для нее нет предосудительных фактов. Для науки не существует ни добра, ни зла. Безусловно, она может показать, каким именно образом причины вызывают следствия, но не говорит, какие цели нужно преследовать. Дабы познать не то, что есть, а то, что желательно, приходится полагаться на внушения бессознательного, каким бы именем его ни называли: будь то инстинкт, чувство, жизненная сила или что-то еще. Наука, как пишет уже упоминавшийся автор⁴⁸, может осветить мир, но оставляет тьму в человеческих сердцах; само сердце должно сотворить себе свет. Выходит, наука оказывается лишенной, или почти лишенной, всякой практической пользы и вследствие этого фактически утрачивает право на существование. Зачем стремиться к познанию реальности, если знания, нами приобретаемые, не служат нам в жизни? Наверное, можно возразить, что, открывая нам причины явлений, наука предлагает способ вызывать такие причины по нашему желанию, тем самым достигая целей, которые наша воля ставит по сверхнаучным основаниям. Но, как считается, всякое средство само есть цель, ведь для применения того или иного средства требуется акт воли – сходно со стремлением к цели. Всегда обнаруживается несколько путей, ведущих к конкретной цели, и между ними предстоит делать выбор. Если же наука не помогает нам в выборе лучшей цели, то разве она в состоянии указать наилучший путь для достижения цели? С какой стати ей открывать нам путь, наиболее быстрый в сравнении с наиболее экономичным, наиболее верный в сравнении с наиболее простым, или наоборот? Если наука не может направлять нас к высшим целям, значит, она столь же бессильна, когда дело касается тех второстепенных и подчиненных целей, которые именуются средствами.

Верно, что этот идеологический метод позволяет вырваться из ловушки мистицизма, а желание выскользнуть из нее и является отчасти причиной устойчивости этого метода. Его приверженцы, увы, были чрезмерно рационалистичными и не желали соглашаться с тем, что человеческое поведение не нуждается в руководстве познающей мысли. Тем не менее они не видели в явлениях, взятых сами по себе, независимо от всех субъективных данных, ничего, что позволило бы классифицировать эти явления по их практической пользе. В итоге казалось, что единственным инструментом оценки будет соотнесение явлений с каким-либо господствующим понятием. Потому-то использование понятий для управления сличением фактов, а не для порождения понятий из фактов, становилось необходимостью всякой рациональной социоло-

⁴⁸ Имеется в виду Дж. Дармстеттер. – *Примеч. перев.*

гии. Но мы знаем, что в таких условиях, когда практика осмысливается, рефлексия все равно остается ненаучной.

Решение задачи, поставленной нами, позволит отстоять права разума, не впадая в идеологию. Для обществ и для индивидуумов здоровье – это благо, которое желательно; болезнь, с другой стороны, есть зло, которого следует избегать. Если мы находим объективный критерий, внутренне присущий самим фактам и позволяющий научно отличать здоровье от болезни в разных категориях социальных явлений, то наука будет в состоянии пролить свет на практику, сохраняя верность своему методу. В настоящее время наука еще не может напрямую влиять на индивидуума, поэтому она, конечно, способна лишь на общие указания, которые нельзя применять надлежащим образом без опоры на чувственное восприятие. Состояние, известное как здоровье, насколько оно поддается определению, неприменимо ни к одному индивидууму, поскольку оно устанавливается только для наиболее общих условий, от которых все из нас так или иначе отклоняются. Тем не менее это важный ориентир для поведения. Из того, что этот ориентир нужно соотносить с каждым отдельным случаем, вовсе не следует, что его познание лишено пользы. Наоборот, верно обратное: это ориентир предлагает норму, которая должна служить основанием всех наших практических рассуждений. В таких обстоятельствах уже бессмысленно утверждать, что мысль бесполезна для действия. Между наукой и искусством нет более пропасти, одно является непосредственным продолжением другого. Правда, что наука постигает факты лишь при посредничестве искусства, но искусство выступает всего-навсего продолжением науки. Можно также задуматься по поводу того, должна ли уменьшаться далее практическая немота науки, если устанавливаемые ею законы будут все полнее и полнее выражать индивидуальную реальность.

I

Обыкновенно боль считается показателем болезни. Не подлежит сомнению, что в целом между этими двумя явлениями имеется связь, лишенная однозначности и точности. Существуют заболевания тяжелые, но безболезненные, тогда как незначительные расстройства здоровья, например угольная соринка в глазу, могут причинять настоящее мучение. В некоторых случаях отсутствие боли, точнее, наличие удовольствия, выступает симптомом болезни. Именно ощущение неуязвимости к боли носит патологический характер. В обстоятельствах, когда здоровый человек страдает, неврастеник может испытывать чувство наслаждения, болезненный характер которого неоспорим. Напротив, боль сопровождает ряд состояний, таких как голод, усталость, роды, которые суть явления чисто физиологические.

Можем ли мы сказать, что здоровье, заключааясь в счастливом развитии жизненных сил, присутствует там, где имеется полная адаптация организма к среде, и что болезнью следует называть все, нарушающее эту адаптацию? Для начала (нам придется вернуться к этому вопросу позднее) вовсе не доказано, что всякое внутреннее состояние организма соответствует каким-либо внешним условиям. Кроме того, даже если критерий приспособленности мог бы в самом деле служить отличительным признаком здоровья, потребовались бы другие, дополнительные критерии для его опознания. В любом случае нам необходимо установить принцип, посредством которого возможно определить, в чем именно один способ адаптации «совершеннее» другого.

Нельзя ли разграничить эти способы по их воздействию на выживаемость человеческих организмов? Тогда здоровье можно признать таким состоянием организма, при котором шансы выжить максимальны, а болезнью оказалось бы все, что уменьшает эти шансы. Безусловно, общим следствием болезни является ослабление организма. Но не только болезнь вызывает этот результат. У ряда низших видов репродуктивные функции неизбежно влекут за собой смерть – и даже у высших видов они чреваты риском. Между тем они нормальны. Старость и

младенчество равно подвержены тому же правилу, ибо старики и младенцы наиболее уязвимы перед разрушительными факторами. Но разве они явно больны, разве нужно признавать здоровье только за человеком зрелого возраста? Было бы нелепо сводить здоровье исключительно к физиологии! Вдобавок если старость сама по себе болезнь, то как отличить здорового старика от хворого? С такой точки зрения нужно и менструацию относить к числу болезненных явлений: вызывая известные расстройства, она увеличивает восприимчивость женщины к заболеваниям. Но допустимо ли называть болезненным такое состояние, отсутствие или преждевременное исчезновение которого бесспорно составляет патологическое явление? Мы рассуждаем так, будто в здоровом организме всякая мелочь, так сказать, должна играть полезную роль, будто всякое внутреннее состояние точно отвечает какому-то внешнему условию и вследствие этого способствует поддержанию витального равновесия и уменьшению вероятности смерти. Наоборот, есть все основание предполагать, что некоторые анатомические или функциональные элементы не служат прямо никакой цели, существуют просто потому, что они не могут не существовать ввиду общих условий жизни. При этом их нельзя назвать болезненными, так как болезнь есть прежде всего нечто избегаемое, нечто внешнее для нормальной конституции живого существа. Пожалуй, можно даже заметить, что вместо укрепления организма эти элементы могут порой уменьшать силу его сопротивления и потому увеличивать риск смерти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.